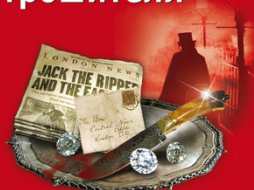


АРТЕФАКТ & ДЕТЕКТИВ

Он убивал. Убивал
бессмысленно и беспощадно,
получая удовольствие от
агонии и мучений своих жертв.
А после, уже во сне, к Джеку
Потрошителю приходила
сама Смерть и плакала
кровавыми слезами,
которые превращались
в драгоценные камни.

Екатерина ЛЕСИНА

Алмазы Джека Потрошителя



Екатерина Лесина
Алмазы Джека Потрошителя
Серия «Артефакт-детектив»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3744385
Алмазы Джека Потрошителя : роман / Екатерина Лесина: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-57341-7

Аннотация

Он убивает – убивает бессмысленно и беспощадно, наслаждаясь агонией и мучениями своих жертв. Во сне к Джеку Потрошителю приходит сама Смерть. Она плачет кровавыми слезами, которые превращаются в изысканные драгоценные камни. Но Старуха с косой не в силах смириться с потерей такого сокровища и до сих пор преследует всех владельцев проклятых алмазов, забирая их с собой... Дочь известного бизнесмена Вера Гречкова тонет в собственной ванне. Ее смерть выглядит естественной, но серьги с алмазами пропали. Гадалка утверждает, будто Веру убили. И погибает сама во время спиритического сеанса. Саломее Кейн, специалисту по паранормальным явлениям, предстоит найти проклятое украшение и убийцу. Разгадка всех смертей ведет к так и не пойманному и не понятому – Джеку Потрошителю и его потомкам...

Содержание

Пролог	4
Часть 1	7
Глава 1	7
Глава 2	14
Глава 3	18
Глава 4	25
Глава 5	31
Глава 6	35
Глава 7	39
Глава 8	44
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Екатерина Лесина

Алмазы Джека Потрошителя

Самый жуткий из всех зверей – это саламандра. Другие кусают, по крайней мере, отдельных людей и не убивают многих сразу, а саламандра может погубить целый народ так, что никто и не заметит, откуда пришло несчастье. Если саламандра залезет на дерево, все фрукты на нем становятся ядовитыми... Если саламандра дотронется до стола, на котором пекут хлеб, то хлеб становится ядовитым... Упав в поток, она отравляет воду... Если она дотронется до любой части тела, даже до кончика пальца, то все волосы на теле выпадают...

Плиний Старший

Пролог

Вера проснулась от жажды.

В последнее время жажда мучила беспрестанно, и сейчас Вера с трудом разлепила сохшие губы. Трубка горла сжалась, стенки коснулись друг друга – два куска наждака – и сыпанули пылью в легкие.

Кашель был сухим, раздражающим. И Вера хрипела, привычно хваталась за горло, сминая шарф. Он развязался и съехал, повиснув полосой мятой шерсти. Странное дело, на ощупь шарф был мягким, нежным, а на шее оставлял алые следы натертостей.

У Веры аллергия. На шерсть в том числе.

Когда кашель прекратился – а он всегда прекращался сам собой, – Вера стянула одеяло. Натуральная овечья шерсть источала резкий запах синтетики, льняная простыня пропиталась потом.

И пить все еще хотелось.

Холодный пол лизнул ступни, а сквозняк тронул спину, предупреждая, что совсем скоро окрепнет настолько, чтобы надолго уложит Веру в ее гипоаллергенную постель. И Вера трусливо накинула халат. Ей не хотелось заболеть, хотя желание ее было абстрактным, поскольку не случалось еще ни одной зимы, которую Вера не провела бы в постели.

Но сейчас ей хотелось пить.

Она прошаркала к двери, волоча тапочки по полу и раздражаясь от этого мерзкого звука, не то скрипа, не то скрежета. Вере начинало казаться, что скрипит не дом – суставы. Еще немного, и тело ее, источенное многими недугами, рассыплется.

– Да я не могу так больше... – Шепоту удалось проникнуть сквозь скрип, и суставы вежливо замолчали. А Вера остановилась у двери. – Я все думаю, когда же она...

Андрюша? Конечно, Андрюша. Лишь у него такой мягкий бархатистый голос, от которого Вера пьянеет и лишается разума.

– Она спит. Она всегда ложится рано. Как ребенок, ей-богу...

Сердце дергалось, как воздушный змей на поводке-веревочке.

– С другой стороны, так лучше. Если бы ты знала, до чего я устал притворяться.

А Вере он казался искренним. На самом деле она плохо разбиралась в людях. И отец то же самое повторял. Отцу Андрюша не нравился... и Лера тоже... и дядя Кирилл, не говоря уже о тете. Только Полина да сама Вера не раздражали его.

– Я не ною. Ты не представляешь, какая она на самом деле...

Какая?

Слишком высокая, слишком худая, слишком бледная.

– ...болото, настоящее болото. Она затягивает меня! Высасывает досуха. Даже когда ничего не делает. А она никогда ничего не делает.

Потому что устает. Это таблетки виноваты.

– ...сидит целыми днями. Вот просто сидит и все. Телик и то не смотрит. Все смотрят телик!

А у Веры голова болеть начинает. Телевизор яркий и громкий, а передачи современные глупы. Вера любит старые фильмы, черно-белые и забавные в своей наивности.

Наивно думать, что Андрюша и вправду ее любит.

– Я скоро с ума сойду...

Если рассказать отцу, он расстроится. Он всегда расстраивается, когда с Верой происходит очередная неприятность. И Вера будет чувствовать себя виноватой... но отец успокоит и все уладит.

Андрюша исчезнет. И остальные тоже – профилактики ради. В дом вернется пустота, и возможно, пустота – не худший из вариантов. В ней уютно. Как сейчас. Если бы еще не жажда...

Очнувшись, она заскребла горло с новой силой, требуя наполнить сосуд телесный живительной влагой. Про сосуд и влагу Вера слышала где-то, но где именно – не помнила.

Она толкнула дверь и зажмурилась от резкого слепящего света.

– Верунчик? Ты проснулась? Тебе плохо? – Бархатный голос Андрюши был полон искреннего беспокойства.

– Жарко очень, – сипло произнесла Вера. – Не спится.

– Тебе принести чего-нибудь? Снотворного? Или Полинку позвать?

Веру царапнула эта случайная фамильярность.

– Не надо. Я... я в ванну. Отдохну.

– Может, я с тобой?

Он обнял, прижался телом к телу, задышал в ухо с притворной страстностью. Все-таки он смешон. Нелеп даже в этой алой рубашонке с вышивкой, в серьгах и кольцах, которых – папа прав – было чересчур уж много, в неестественной любви ко всему яркому, блестящему.

– Не надо. Я... я неважно себя чувствую.

Вера не услышала бы этого вздоха облегчения, если бы не ждала его. И дождавшись, невольно улыбнулась – как все просто... как все утомительно просто и однообразно.

– Лучше принеси мне вина.

– Ты уверена? Может, чаю? Или...

– Вина, – обрезала Вера и поняла, что да, именно вина ей хочется. Темно-красного, кисло-сладкого, обволакивающего небо и унимающего жар в горле.

– Ты же не пьешь...

И зря. С вином ей было бы легче жить. Но печень Веры вряд ли выдержит больше бокала в год. Печень следует беречь.

Вино было кислым. Вера запивала его водой, благо в кувшине еще оставалось стакана два. Надо будет залить, чтобы на утро хватило...

Вера сидела, глядя на собственные руки сквозь сине-зеленую, прозрачную, как чистый алмаз, воду. Поверхность ее рябила, и Верины пальцы становились то короче, то длиннее.

Вера подумала, что могла бы написать картину.

Сквозь воду... сквозь воду все видится иным. Особенно если смотреть с той стороны.

Набрав воздуха, Вера легла на дно ванны. Волосы ее потянулись вверх, поплыли стеблями ламинарии, колени пробили пленку и превратились в две далекие, розово-белые горы. И к ним, спеша коснуться плоти нового, придуманного Верой мира, устремлялись пузырьки воздуха...

Она смотрела долго, запоминая формы и краски, рисуя, пока лишь в памяти. И когда закончился воздух, Вера рванулась навстречу другому, надводному миру.

Попыталась рвануться – ослабевшее тело лишь слабо дернулось, а резкая боль в животе заставила Веру закричать. В рот хлынула вода, просачиваясь и в горло, и в трахею. Ноги засучили по скользкому дну ванны, но не сумели найти точку опоры. Руки и вовсе остались бездвижны.

А потом боль из живота расползлась по телу, и тело развалилось-таки на куски. Вера еще жила, смотрела на себя как бы из-под воды и смеялась над этой странной нелепой женщиной, которой была. Она рисовала себя птицей, а следовало – ящерицей. Длинной-длинной ящерицей с бледной чешуей и глазами цвета моря.

Папу жалко. Он расстроится.

Часть 1

Ящерицы и хвосты

Глава 1

Новые старые знакомые

На место встречи Саломея прибыла вовремя и, не удержавшись, бросила взгляд в зеркало.

Хороша. Великолепна!

Тонированные «в золото» волосы утратили пошлую рыжину. Кожа стала темнее и ровнее, а веснушки поблекли. Сочная зелень наряда лишь подчеркивала цвет глаз. В общем, богиня. Оставалось надеяться, что эту красоту оценят.

Двери распахнулись, и дорожка нарядного багряного цвета сама легла под ноги Саломеи. Только бы не зацепиться шпилькой за складочку... на каблуках Саломея держалась не слишком хорошо.

Пространство давило. Свет слепил. Он был каким-то совсем уж стерильным, резким, и обилие хрусталя, по-старомодному тяжелого, лишь усугубляло это впечатление обезжизненности. Негромкая музыка царапала нервы.

– Прошу вас... – Метрдотель остановился перед столиком, на котором возвышалась цветочная гора.

Лилии, розы, благородно изможденные орхидеи и крохотные фиалки, словно бисерины, рассыпанные по белой глазури торта. И за этой массой человек, сидящий по ту сторону столика, терялся.

Метрдотель отодвинул стул, и Саломея села, чувствуя, как наливаются теплотой щеки. Она никогда не умела садиться красиво, плюхалась на стул, придавливая его к полу, и потом рывками подвигала к столу. Как правило, стул скрежетал и возмущался, Саломея терялась, а все, кому случалось быть рядом, начинали делать вид, будто бы все в полном порядке...

Тот, который прячется за цветами, наверное, разочарован.

Но какое Саломеи дело? Никакого. Она просто пришла в ресторан. Просто пришла – и все.

– Добрый день, – Саломея мило улыбнулась розам, а может быть, лилиям или орхидеям. Фиалкам – совершенно точно.

– А рыжий тебе больше шел, – ответили ей с той стороны цветочной горы. – Зря покрасилась. И уберите наконец эти цветы!

Убрали. Унесли с молчаливой торжественностью, в которой Саломеи виделось неодобрение.

– Извини, но я не люблю разговаривать, не видя собеседника.

– Конечно, я вас прекрасно понимаю.

Глупая фраза вылетела сама собой и увязла в надушенном воздухе ресторана. С каждой секундой Саломея чувствовала себя все более неудобно. И платье жало, и туфли успели натереть пятки, и коленка зачесалась... а таинственный поклонник, разом растеряв всю таинственность, разглядывал Саломею в обычной своей манере. И во взгляде его мешались насмешка, легкое презрение и явное осознание собственного превосходства.

– Не слишком изменился, надеюсь? – Он умудрялся держать руки над столом так, что рукава едва-едва не касались скатерти, кисти были параллельны друг другу и явное уродство левой – мизинец и безымянный палец отсутствовали – становилось особенно заметно.

Саломея, как и раньше, уставилась на эту руку, на белые шрамы, выделявшиеся на белой коже. Они брали начало на внутренней стороне ладони, чтобы переползти на тыльную и встретиться друг с другом.

Эти шрамы вызывали в ней прежнее омерзение, равно как и человек, их носивший.

Он и вправду изменился не слишком. Невысокий, мелкокостный, с водянисто-прозрачной кожей, на которой проступали синюшные вены. На шее они выпирали, как будто бы выдавленные излишне тугим галстуком, и уходили под острый подбородок.

– Я все еще тебе не нравлюсь. – Он произнес это одновременно и утвердительно, и насмешливо. Саломея вздрогнула: в конце концов, она уже взрослая и понимает, что люди внутри совсем не такие, как снаружи.

– Извини. Я... я просто растерялась, и вот. Не ожидала тебя тут... и что это ты... ну подумала, что так кто-то просто... а это ты, и вот... Илья, да? Илья Далматов. Через «а» с ударением на втором слоге. Илюшей не называть. Илькой тоже. Видишь, вспомнила.

Она засмеялась, как бы показывая, что ничуть не удивлена, а даже обрадована такой неожиданной замечательной встрече с прошлым. Точно так же она смеялась на встрече одноклассников, на которую пошла однажды из чистого любопытства, ну и потому, что думала, будто пара лет после выпускного что-то изменит в прошлом.

– А почему ты... почему просто не написал, что это... ну, в общем, что ты – это ты? – Саломея, пытаясь занять чем-то руки, схватила вилку. И конечно, выронила. И пытаясь поймать, столкнула бокал. А бокал упал, пусть на ковер, и не разбился, но...

– Хотел, чтобы встреча состоялась.

– А... а если бы написал, то не состоялась бы?

Саломея велела себе прекратить спотыкаться на словах и краснеть. Щеки пылали.

– А разве нет?

– Ну... нет.

Да. Вероятнее всего, да.

– Врать ты по-прежнему не умеешь, – сказал Илья, потирая большим пальцем подбородок.

И жест прежний, и манера кривить тонкие бесцветные губы, не то в улыбке, не то в страдальческой гримасе.

Подбородок у Ильи узкий и длинный. Нос крупный, тяжелый и с горбинкой. За этим носом совершенно теряются светлые глаза цвета болотной воды. В них и прежде-то выражения не разглядеть было, а теперь и подавно. Но Илья словно боится, поэтому еще и очками заслонился.

Очки ему идут. И костюм этот серый, и темная рубашка с галстуком сизого шелка... и запонки. Папа Саломеи тоже запонки носил, но это же мелочь, которая ничего не значит.

Папа был хорошим. А Илья – он... не плохой, но неприятный.

Бледный угорь.

Точно, бабушка его так назвала, а Саломея подхватила, до того замечательным показалось прозвище.

– Если хочешь уйти, то я не держу. – Руку он убрал-таки под стол. И Саломее сразу стало стыдно: она ведет себя по-детски. Но она же взрослая!

– Извини, просто... это все неожиданно.

– Есть такое. И вряд ли приятно. Помнится, в последнюю нашу встречу ты обозвала меня угрем...

– Бледным угрем, – уточнила Саломея и, точно оправдываясь, добавила: – Но ты меня обманул. Ты сказал, что клад зарыт. Я его два дня искала! Знаешь, как обрадовалась, когда нашла? А там крыса!

– Так это и был клад.

Все-таки улыбаться он умеет, правда, симпатичнее не становится, напротив даже – зубы у Ильи мелкие, частые, как будто и нечеловеческие.

– Дохлая!

– Ну... клады разными бывают. Ты сказала, что сюрпризы любишь. Между прочим, ты эту крысу в меня кинула.

– А ты сказал, что отравишь меня!

Илья поднял руки, останавливая словесный поток:

– Спокойно. Мне уже тридцать. Дохлые крысы в коробках из-под монпансье остались в прошлом. Хотя да, визжала ты смешно... и приезжать перестала. Вообще-то я надеялся, что перестанешь, а потом понял: не все сбывшиеся желания хороши. Есть-то ты будешь? К слову, тут хорошо рыбу готовят. Мясо жестковато, а вот рыба – великолепна.

– Тогда рыбу. И... и вообще на твой вкус. Я давно не была в ресторане.

Кивнув, Далматов сказал:

– Со смерти родителей, полагаю? Не злись. Я понимаю. Действительно понимаю. Ты их любишь, и тебе тяжело. Я маму тоже люблю. И мне тяжело. На отца плевать. Мы с ним никогда особо не ладили, а по маме скучаю.

Илья говорил без обычной своей насмешки.

Его мать Саломея помнила превосходно – сухая длиннорукая женщина, которая любила черные вдовьи платья и парики. Она напоминала самку богомола, терпеливую и беспощадную. Скрипучий голос ее приводил Саломею в трепет.

Отец Ильи, Федор Степанович, напротив, был мужчиной крупным и веселым. Он громко смеялся и носил в карманах конфеты. Саломею он называл невестушкой и повторял через каждые пять минут, что ждет не дождется, когда же она вырастет.

Свадьбу расписывал...

Жалко его. А Илья только притворяется, будто бы ему плевать.

– Я... сочувствую, – выдавила Саломея и тоже взгляд отвела.

Илье вряд ли понравится, что она заметила эту его слабость. Он самодушный. Во всяком случае, раньше самодушным был. И вряд ли так уж сильно изменился.

– Я тебе тоже. – Он ответил сухо, тоном подчеркивая бессмысленность фразы, и подал знак метрдотелю.

Илья диктовал заказ долго – нарочно ли? – и Саломею оставалось лишь молчать, улыбаться да разглядывать интерьер.

Она ведь была здесь... конечно, была... десятый день рождения. И папин сюрприз. Мамин подарок – платье темно-синего вельвета с завышенной талией и юбкой почти до пола. А бабушка одолжила жемчужное ожерелье.

Зал был другим. Менее пафосным, более сказочным. Или только так казалось? Огромный стол и щука с глазами из клюквы. Саломея распрекрасно помнит щучью пасть и подрисованные майонезом бока. И салат с черными кислыми оливками, которые с непривычки показались омерзительными.

Она до сих пор оливки не любит. Зато любит мороженое с вишневым соком и шоколадной крошкой.

– Мы ведь здесь встретились? – Саломея сказала это громко, пожалуй, слишком громко. И метрдотель поспешно отступил, предоставляя клиентам видимость уединения.

– Мой день рождения. Десять лет. Папа привел меня в ресторан. И там был твой отец. Ну и ты. Помнишь?

Брови у него еще более светлые, чем у Саломеи. И тогда ее удивило, что брови настолько светлые, и волосы тоже – макушка просвечивает. Сейчас-то Илья отрастил, и длинные волосы ему идут.

– Он любил ресторанные встречи. И меня с собой таскал. Вдруг да пригожусь.

- А мне твой отец нравился.
- Он умел нравиться. Когда считал, что нравиться надо.
- И прощения просил потом, ну... за то, что ты сказал.
- Если тебе интересно, то он хотел, чтобы извинился я.
- А ты?
- Я отказался.
- И что было?

Илья вздохнул и вновь потер пальцем подбородок, оставляя на светлой коже алую полосу следа.

- Тебе действительно нужно это знать?
- Н-нет.

Вряд ли его воспоминания так уж светлы, скорее даже наоборот, и Саломее совсем не стоит заглядывать на изнанку чужой жизни.

– На тебе жемчуг был. Длиннющая нитка, которую ты все время крутила, – Илья заговорил мягко, словно пытаясь сгладить внезапную неловкость.

- И нитка порвалась. Жемчужины рассыпались...
- И мы собирали.

Только собрали не все. И пусть бабушка твердила, что жемчуг – это, в сущности, ерунда, пустячок, и никто в здравом уме не станет пересчитывать жемчужины, а значит, не заметит, что ожерелье стало чуть короче. Но Саломее было неприятно. Она ведь знала, что виновата.

Илья вытащил что-то из кармана и положил на скатерть, прикрыв уродливой левой рукой.

- Меняемся не глядя? – предложил он.
- На что?
- На что-нибудь.
- У меня ничего нет!

Это неправильно. Всегда есть что-то. Золотое колечко. Колпачок от ручки. Сломанная зажигалка или булавка с искусственным камнем... три ириски на дне клатча. Саломея вытащила одну и зажала в кулаке.

- Не передумал?

Илья покачал головой.

- Тогда на счет три? Раз-два...

Он убрал руку прежде, чем Саломея добралась до цифры «три». На льняной скатерти, жесткой от крахмала, остались две жемчужины. Идеально ровные. Крупные. Цвета жирных сливок.

Те самые.

- Ты... ты их украл!

Ириска упала на тарелку. Далматов сгреб ее и отправил в карман.

- Ты их украл! Тогда! Мы все тогда обыскали, а ты... зачем?

Жемчужины хранили чужое тепло. И не давались в руки, но Саломея немыми непослушными пальцами собрала их.

- Деньги нужны были.

Ради денег? Какая смешная причина. Ожерелье привез дедушка, из Индии, где море вгрызается в берег, где живут умные слоны и хитрые обезьяны, где бесшумно ступает тигр, а в горах прячутся остатки древних городов.

И разве можно променять эти рассказы, память на деньги?

- Эй, Лисенок, вот только рыдать не надо.

– Не надо, – Саломея спрятала неожиданный подарок – подарок ли? – в сумочку, а сумочку обняла, потому как расстаться с нею не было сил.

Она сидела, поглаживая матерчатый бок, когда принесли рыбу. И вино. И еще что-то очень нарядное и, наверное, вкусное, но аппетит пропал, зато вернулась тоска.

Ведь осень в разгаре. А следом – зима. Зимой всегда тоскливо.

– Ешь давай, – велел Илья. – Я тогда хотел сбежать из дому. Не удивляйся... мой дом не был похож на твой. Да только и его больше нет... в прежнем смысле. Ты принесла? Нет?

Почему кто-то хочет сбежать из дому? Дом – это же дом.

Елка на Рождество с антикварными шарами, расписанными вручную. И гора мандаринов, которые, сколько ни ешь, не закончатся. Пирог по выходным. И кресло-качалка с полосатым пледом. Плюшевые шторы, собирающие пыль, и бабушкино ворчание.

Корзинка для рукоделия и мамины флакончики на туалетном столике времен Марии-Антуанетты.

Папины книги и запах табака в библиотеке. Там никто не курит, но запах живет сам по себе, и Саломея придумывает табачного человечка, который любит читать. Особенно ему по вкусу Британская энциклопедия.

Как можно убежать из дома?

– Очнись. Смотри, – Илья подвинул коробочку.

Черную бархатную коробочку с серебряной опояской рун.

– В тысяча шестьсот тридцать восьмом году Жан-Батист Тавернье, человек безупречной репутации и немалых торговых способностей, отбыл из Франции в Персию. А оттуда – в Индию, ко двору Шах-Джахана, благословенного потомка Тамерлана.

Коробочка стара. Она устала служить людям, и на гранях ее видны залысины. Но бархат по-прежнему мягко гладит пальцы, а руны выглядят шрамами.

– Это он разбил мятежных раджей Декана. И судьба побежденных столь впечатлила Голконду, что та поспешила прислать новоявленному тигру богатые дары.

Крышка сидит плотно, и Саломее приходится поддевать ее ногтями. На бархате остаются царапины, которые сливаются с другими царапинами.

– Если вспомнить, что Голконда славилась алмазными копиями, то характер подарка был предопределен. Если верить одной старой... очень старой книге, то камни выбирали особые...

Изнутри коробка белая. И серебряные руны бледнеют перед ледяным сиянием драгоценных камней.

– Великая Агра узрела богатства Голконды. А Шах-Джахан, будучи человеком адекватного мировоззрения, понял, что ничего хорошего от этого подарка ждать не стоит. И вот добрый друг Шах-Джахана Тавернье возвращается домой с грузом алмазов всех цветов и размеров.

Перстень сидел неплотно, как больной зуб, но покидать ячейку отказывался, и Саломея тянула, а Илья не помогал и не мешал – он продолжал рассказ:

– В отличие от прочих он избежал проклятия слез смерти. То ли повезло, то ли был Жан-Батист чист перед нею, но до Парижа он добрался в целостности и сохранности.

Перстень мужской. На крупную руку. Илье вряд ли подойдет – слишком тонкие у него пальцы. Золото. Алмазы. Камни странного, лимонно-желтого оттенка, который не свойственен алмазам. Саломея пытается уловить этот цвет, но тот, дразнясь, исчезает, и камни становятся бледно-голубыми... фиолетовыми, как ранние сумерки... снова желтыми.

– Тавернье продал камни. И первым из покупателей стал Король-Солнце, он же Людовик шестнадцатый. Право выбора. И две дюжины камней на бархатной подушке, в числе которых алмаз на сто двенадцать карат удивительного синего цвета. Редчайшая находка.

Желтизны почти не остается, она стекает с камней в центр перстня, где на щите лежит ящерка. Крохотная ящерка, невзрачная, словно бы спрятавшаяся среди камней.

– За этот алмаз Тавернье получил титул. А в Европу пришла чума. Совпадение? Возможно. И какое королям дело до чумы? Камень огранили в форме сердца. Людовик стал проигрывать войну... а заодно поутратил красоты и здоровья. Потом и вовсе умер.

– Откуда у тебя это кольцо?

Саломея разглядывала ящерку, поражаясь сходству.

– Камень достается Марии-Антуанетте. И та лишается головы. Алмаз попадает к амстердамскому ювелиру Ваалсу на переогранку, и бедолага спивается в кратчайший срок. Переходит во владение к американцу Хоупу, получает имя. А богатейшее семейство разоряется.

Эта история известна Саломее. И она подхватывает нить:

– Камень продали Абдуль-Хамиду. Он расстался с тронem. Князь Корытковский дарит алмаз танцовщице Ледю. И ее же убивает...

– А потом и сам отправляется за подружкой. Смерть идет за своей слезой. Чем не доказательство?

– Эти из... них? – Саломея вернула перстень.

– Угадала. Тавернье вывез не все камни. Голконда в свое время многих одарила.

– И... они же? – Она принесла брегет. Она не собиралась его брать, убеждая себя, что это совершенно ни к чему, но все равно взяла.

Крышка не оплавилась, разве что потемнела, и сохранившийся глаз саламандры сияет особенно ярко. Илья не спешит взять брегет, и Саломея благодарна за отсрочку. Ей надо привыкнуть к тому, что брегет попадет в чужие руки.

– Ты уверен, что это – именно они.

– Есть способ, – Илья достал фонарик.

Странно все смотрится. Бокалы. Вино. Рыба с розами из лимонов и узорами из петрушки. Пестрые закуски. И проклятые драгоценности.

А вдобавок – фонарик.

– Направь свет под прямым углом, – велел Илья. И Саломея подчинилась. Бледно-желтые алмазы вспыхнули алым. Они словно кровью налились, но ненадолго – секунда, и краснота пропала.

– «Хоуп» меняет окрас в ультрафиолете. «Черный Орлов». «Гора света», – Далматов все-таки прикоснулся к брегету. Саломею передернуло от отвращения, внезапной ненависти.

Этот человек не имеет права!

– Ты же знаешь, что это – не рубин, – пальцы застыли в миллиметре от глаза саламандры.

– Что?

– Это не рубин, – повторил Илья. – Это алмаз.

В ультрафиолете камень стал не белым – бледно-голубым, но длилось это недолго. Слезы смерти, красивая сказка, немного страшная, но это нормально для сказки.

– Как они погибли? Твои родители. Извини, если это... не в тему, но... я хочу понять.

За стеклами очков выражения глаз не поймать.

– Разбились. Обычный перелет. И с самолетом было все в порядке. Он следил за своими вещами, – Илья скрестил пальцы и, словно спохватившись, распрямил. Его ладони вновь были параллельны друг другу и вызывающе асимметричны. – Ты ешь, Лисенок. И не страдай о том, чего не изменить.

Все верно, конечно. Только неправильно.

– Время собирать камни? – спросила Саломея.

Илья кивнул, и на столе, между тарелками и свечами, принесенными заботливым метрдотелем, появилась папка. Черная кожаная папка с серебряной застежкой.

Папа в таких носил «дела насущные».

– Знакомься, Герман Васильевич Гречков. Именно Гречков, с «в» на конце. С Гречко не путать...

Глава 2

О Вере и суевериях

Шестьдесят три года, но выглядит старше. Высок. Массивен, но не грузен. Красноватый оттенок лица. Ослабленный узел галстука. Одышка? И давление скачет.

– Мне вас рекомендовали. – Он начинает разговор первым и чуть наклоняется, норовя заглянуть в глаза.

Илья выдерживает взгляд. И сам разглядывает гостя, которым, в свою очередь, рекомендовали заняться. Массивная челюсть. Массивный нос. Массивное надбровье.

Шея короткая, со складочкой кожи над воротником.

– Я в эту муть не верю. Но Полинка волнуется.

– Женщины всегда волнуются, – отвечает Илья, пользуясь паузой в речи собеседника.

Руки широкие, лежат на подлокотниках кресла вроде бы свободно, спокойно, но в то же время спокойствие это нарочитое.

– Точно. Я ей говорю – муть все это. А она волнуется. Ну и чего теперь? Пусть проверяет... только и я проверю, по-своему. Чтоб уж раз и навсегда. Ясно?

– Нет.

– Не врешь, – клиент грозит пальцем. – Правильно. Мне врать нельзя. Запомни.

– Хорошо.

– Моя дочь, – фотографию он вытаскивает из нагрудного кармана двумя пальцами, отрепетированным небрежным жестом. И так же небрежно кладет на стол. – Умерла. Год как. Утонула в ванной. Как можно было утонуть в ванной? Я, грешным делом, решил, что не сама. Но проверили все. Все, я тебе говорю, проверили! Землю жрали и ничего не нашли.

Дочь Гречкова не похожа на него. Разве что лбом покатым и широкой переносицей, которая делала некрасивое лицо особенно некрасивым.

Фотография любительская. Неудачная. Девица стоит вполоборота, ссутулившись. Длинные волосы цвета мокрой соломы висят, закрывая лицо.

– Она хорошей была. Слабенькой только. Вся в мамашу – такая же курица. Я уж старался как мог, да только... моя бабка говорила: кому повешенным быть, тот не потонет. А Верунька потонула.

Она уже на фотографии выглядела мертвой, как слеза аконита. Илья кожей ощущал эманации разложения, исходящие от снимка, от человека, сидящего напротив, готового платить за то, чтобы Илья рассказал ему историю – правдивую или нет – вопрос другой.

Главное, чтобы достоверную.

– Ты не думай, что я про дочку позабыл. Я ей скульптуру на могилу поставил. И плачу, чтоб глядели нормально... – Он мотнул шеей, будто желая избавиться от тесного воротника. – Год прошел. И тут объявляется эта мымра. Ясно-мать-ее-видящая. И говорит, что Верунчика утонули. Убили то есть...

Мымру по паспорту звали Аллой Борисовной Рюмочкиной, но собственное имя плохо увязывалось с образом, и потому клиентам Алла представлялась Алоизой. Имя, подцепленное в очередном сериале, до которых Алла-Алоиза была большой охотницей, село хорошо. Оно было одновременно запоминающимся, интересным и в меру загадочным.

За именем грянула смена имиджа. Алоиза перекрасила высветленные волосы в кардинальный черный, укоротила так, что стали видны крупные хрящеватые уши и бабушкины серьги со звездчатыми рубинами. При правильном освещении – свечи и только свечи – рубины обретали пугающий кровавый цвет. Имелось у Алоизы и ожерелье – подделка под старину – полторы сотни браслетов с серебряным напылением, и коллекция шелковых шарфов, которые удачно подчеркивали лебяжью шею.

Вообще к выбору нарядов Алоиза относилась со всей серьезностью.

– Знаете, – повторяла она, глядя словно бы мимо клиента, за спину его, сосредотачивая взгляд на пустоте, как будто бы пустота эта вмещала нечто, простому взгляду недоступное. – В мире много непознанного.

Клиенты оборачивались. Все. Некоторые сразу, другие – спустя секунд десять. Третьи держались минуту, но дольше – никто. Они начинали ощущать то иное, о котором говорила Алоиза. Говорила же она мягко и спокойно, не позволяя себе падать в истерику или притворный экстаз.

Переигрывать – нельзя.

– Мы зашорены. Нам говорят, что нужно верить науке, но разве сама наука в состоянии ответить на все вопросы? Она идет по пути, который однажды был признан правильным... а если вспомнить, то та же наука не раз и не два меняла свои взгляды. Она ставила мир на спины слонов. Заставляла Вселенную вращаться вокруг Земли. И населяла далекие земли псоглавыми людьми... но мы продолжаем верить ей.

Отрепетированная речь лилась в уши клиентов, и те внимали, не замечая, как прорастают в них сомнения, а с ними – готовность верить, но уже не науке – милейшей Алоизе, ее коротким черным волосам, ее алым рубинам, ее шелковым шарфам и голосу.

Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая...

Нынешняя рыбка была велика. Пожалуй, слишком велика, чтобы Алоиза справилась с ней в одиночку...

Илье нелегко с воспоминаниями. Они – яркие картинки в книге разума. Иногда ему кажется, что в голове его целая библиотека. Бесконечные полки, заставленные пыльными томами. На корешках их выбиты даты, изредка – имена. Чтобы вспомнить, достаточно взять нужную книгу в руки.

Раскрыть на правильной странице.

Перечитать. Пересмотреть. Пережить день наново.

Иногда это приятно, но чаще – нет.

Из воспоминаний тяжело выбирать. Книга тяжелеет и липнет к рукам, не желая отправляться на полку. Илье приходится применять силу. Это требует сосредоточенности. И он закрывает глаза, а открыв, обнаруживает, что находится в совсем другом томе.

Здесь ресторан. Столик. Холодная рыба. Илья не любит рыбу, но ест, потому что та, которая сидит напротив, внимательно наблюдает за ним. Илья ей не нравится. Инстинктивно. И это правильный инстинкт – для нее, во всяком случае. Поэтому Илья должен сделать так, чтобы она перестала верить своим инстинктам.

Сложно. С другими проще. Можно было бы иначе, но Илья старается избегать насилия, хотя порой оно и экономит время.

– А ее действительно убили? – Саломея разглядывает фотографию внимательно, и эта сосредоточенность дает Илье передышку, которой он не пользуется – слишком опасно.

У Саломеи Кейн хорошие инстинкты.

И не в этом ли причина сегодняшней встречи? Если бы Илья был иным человеком, он с радостью воспользовался бы подсказкой. Однако он не имел обыкновения врать себе: причина не в инстинктах. Причина в том, что Илье захотелось увидеть Саломею.

– Пока не знаю.

У Саломеи Кейн есть собственная книга на полке далматовской памяти. И обложка ее выделяется среди прочих цветом – свежий янтарь. Яркий. Неприлично яркий, как говорила мама, добавляя, что в иных обстоятельствах у этой девочки возникли бы проблемы с замужеством.

Оказалась права: Саломея Кейн замуж не вышла.

– Серьги, да? – Она вытащила из сумки старинную лупу с отшлифованным вручную стеклом и вытертой деревянной ручкой. – У нее очень необычные серьги...

Илья выложил последний из снимков, сделанный по его просьбе.

– Ты меня проверял? – В ее голосе прозвучала обида. – Ты знал и проверял?

– Серьги ей подарил муж. За месяц до смерти.

– И это кажется тебе подозрительным?

– Это первый серьезный подарок за два года брака. И сделан без повода. Сюрприз.

– Тебе ее отец сказал? – Саломеядохнула на стекло и принялась тереть его салфеткой. – Полагаю, он недолгоблывает шурина.

Саломея Кейн изменилась, что было логично, но Илья никак не мог определить, насколько глубоки эти изменения. Осталось ли хоть что-то от той надоедливой девчонки, которая ходила за ним по пятам и рассказывала о каких-то совершенно бессмысленных, надуманных проблемах. Саломея брала его вещи, не спрашивая разрешения, как будто само собой подразумевалось, что разрешение это будет получено. А когда однажды Илья сделал замечание, она удивилась:

– Тебе что, жалко?

Даже когда Саломея уходила, она продолжала быть в доме. Ее рыжие волосы оставались на коврах, диванах, словно она метила ими чужую территорию.

А потом было то Рождество и сидение на подоконнике. Зимний сад и бумажные колокольчики для елки. Мишура и взлом бара...

Кролики.

И дурная шутка, которая обернулась ссорой. Слова, к несчастью подслушанные отцом. Он ведь поверил, что Илья отравит... ну да был повод.

Далматов захлопнул эту книгу, злясь, что так не вовремя коснулся ее.

– Где он их взял? – Саломея почесала ручкой лупы переносицу.

– Купил. По случаю. Известная история о старушке, переведенной через дорогу, когда она оказывается внучкой княгини и передает семейную реликвию в достойные руки. Ну или как-то так. Но серьги подлинные. Конец девятнадцатого. Серебро. Бирюза и алмазы.

У нее осталась привычка трогать волосы, заправляя короткие пряди за уши. А пряди выскальзывали и гладили щеки. И веснушки сохранились. Они не бурые, но золотистые. Яркие пятнышки солнца на коже, которой не грозит неестественная бледность.

– Старушка и вправду из дворян. Я разговаривал с ней.

В ней не осталось ничего княжеского, благородного. Напротив, она была обыкновенной старухой, располневшей так, что, казалось, старое платье с трудом сдерживает напор тела. Серая вязаная шаль, приколотая к лифу платья булавками, свисала с плеч. Цветастый платок прикрывал волосы, подчеркивая грубые черты лица. И брюзгливый, скрипучий голос пилил Илье нервы, вызывая одно желание – взять топор и заткнуть эту никчемную человеческую особь.

– Серьги – подарок английской кузины. Свадебный. Правда, за свадьбой последовали похороны... и снова похороны... и опять похороны. Дважды серьги уходили из семьи. И дважды возвращались. Крови за ними числилось порядком...

– Саламандра? – Саломея Кейн застыла над снимком. – Она ведь не случайна.

– Скорее всего. Символ. Предупреждение. Знак родства камней. Или ювелиру нравились ящерицы. Не знаю. Главное, что Андрей был в курсе истории. Станный подарок, да?

Она пожала плечами и поежилась:

– Он ее не любил.

Ну в этом Илья не сомневался.

– Вопрос в другом, – сказал он, собирая пасьянс из фотографий. – Совершил ли он убийство? И если совершил, то как? Серьги-то пропали.

– Кто взял, тот убил? – Саломея закончила мысль. – Но там ведь были... еще игроки? Царь, царевич, король, королевич, сапожник...

– Или портной. Разберемся?

И все-таки она задумалась над этим предложением, а взгляд стал колючим, недоверчивым. В какой-то момент Илье показалось, что сейчас Саломея откажет. Это, конечно, не смертельно, но неприятно. В конце концов, он избегал насилия, насколько это было возможно.

Но вот Саломея вздохнула:

– А что нам еще остается? Но учти – ты мне все равно не нравишься.

– Ты мне тоже, – почти искренне ответил Илья.

Он вернется домой спустя час и швырнет перчатки в соломенную корзину с мертвыми цветами. Он пересечет холл, и на пыльном полу останутся следы ботинок. Поднявшись на второй этаж, Илья долго будет возиться с замками на двери. Проснувшийся лакей, древний, как само место, выглянет в коридор и уберется, увидев хозяина. В доме вновь станет тихо.

Настолько тихо, что каждое слово, пусть и произнесенное вполголоса, будет слышно.

– Это Далматов. Хочу сказать, что красный экземпляр несколько подпорчен, но реставрации поддается. Так что наша сделка в силе. Как долго? Думаю, недели хватит. Две – максимум. В таких делах спешить не следует... да, я возьмусь лично...

Весьма скромных размеров сейф стоял на виду и не был заперт, поскольку охранялся нефритовым драконом тангутов, свойствам которого Далматов доверял больше, чем сертификату фирмы – производителя сейфа.

На верхнюю полку отправился футляр с перстнем, с нижней на стол перекидывалась шкатулка из черной кожи. Внутренняя поверхность ее представляла собой соты со стенками из китайского шелка. В ячейках же лежали камни. Были здесь и алмазы – прозрачные и цветные, имелись и рубины самых разных оттенков и размеров, изумруды, сапфиры и полудрагоценная мелочь, которую Илья ссыпал, не разбирая на породы.

Вооружившись щипцами, Далматов выудил ярко-алую искру, которую поднес к свету.

– Ну здравствуй, моя прелесть, – сказал он камню. И тот сердито вспыхнул, меняя цвет на бледно-голубой. Впрочем, длилась перемена доли секунды.

Глава 3

Вся королевская рать

С детства Андрюша Истомин знал, что он – особенный. Знание пришло с маминой улыбкой, с бабушкиными мурлыканьями, в которых слышалась исключительно похвала. С табуреткой, выкрашенной в синий цвет, неустойчивой, но замечательной – ведь с нее Андрюша читал стихи. Читал он громко, с выражением, и люди, приходившие в гости, восхищались его талантом.

В школе Андрюшина уверенность в собственной незаурядности лишь укрепилась. Ведь именно его ставили в пример другим, хвалили за аккуратность и вежливость. А когда Андрюша позволял себе быть неаккуратным и невежливым, его упрекали мягко, не забывая при том улыбаться.

Да и кто осмелится всерьез ругать единственного сына директрисы?

Он рос, окруженный любовью, и сам себе представлялся этакой вещью исключительной красоты и редкости. Станным образом это представление передавалось иным людям.

Его любили. Преподаватели, сокурсники, случайные знакомые, даже древняя, как само здание института, вахтерша улыбалась Андрюше приветливо. И он улыбался в ответ, даря себя – во всяком случае, ему это виделось подарком – всем и щедро.

Конечно, находились завистники, но... в целом все складывалось неплохо.

До определенного момента.

– А тебе обязательно идти? – Наденька стояла в дверях, вытянувшись вдоль косяка в нарочито эротичной позе. Розовая ночнушка подчеркивала формы тела.

– Обязательно.

– А обязательно сейчас? – Наденька надула губы. И без того пухлые, они вдруг показались огромными, в пол-лица.

Пора избавляться от этой связи.

– Обязательно.

– Я буду скучать. Очень-очень скучать. – Нюхоток скользнул по краю декольте. – Твоя котенка будет плакать... ее ничто не утешит. Ничто-ничто.

Пауза. Актриса из нее никудышная. Сам Андрюша притворялся куда как лучше. И вообще если подумать, то он и не притворялся – он всецело вживался в роль, какой бы она ни была.

– Денег больше нет.

– Совсем нет? – Бровки нахмурились, губки стали еще больше, а подбородок вовсе исчез. – Совсем-совсем? Дрю-у-ушенька... ты меня что, не любишь?

– Не люблю. – Он вдохнул и выдохнул, примеряя однажды снятую маску.

– Что? – переспросила Наденька.

– Милая, ты – красавица. Умница. Просто ангел. Но я тебя не люблю...

Задрожали ресницы, просыпались слезы.

– И дело совсем не в тебе, – Андрюша сделал шаг и протянул руки, взял вялую ладошку с длинными ноготками. – Дело во мне и только во мне. Я думал, что все прошло, но...

– Но что? – Когда она злилась, голос терял томность, зато в нем прорезались резкие ноты.

– Но я не в силах забыть Веру. Я пытался, но сейчас осознал – мои усилия обречены. Я всегда буду верен ей. Пусть не телом, но душой.

– Она ж мертвая.

В чем-то мертвая жена гораздо лучше живой.

– Да. Она мертва, а я жив. Когда-нибудь наши бессмертные души воссоединятся, и я верю, что она простит меня... я тебе рассказывал, насколько великодушна Вера? Нет? Она была ангелом!

– А я...

– И ты ангел. Я знаю, что скоро ты встретишь человека, который оценит тебя по достоинству...

Денег все же пришлось дать. Наденька, сообразив, что решение окончательно и обжалованию не подлежит, торговалась, выдвигая контраргументами разбитое сердце и развалины надежд. Бульдожья ее хватка, назойливость и нежелание просто уйти – а ведь было время, когда у Андрюши получалось завершать романы изящно, – утомили.

Радовало лишь то, что финансовые потери в скором времени будут возмещены.

Все бабы – дуры. Но некоторые – особенно.

На дно сумки Лера положила пакет с деньгами. Вытащила, обернула старой рубашкой и снова положила.

– Все правильно, – сказала Лера, вытирая слезы. – Я все делаю правильно.

Квартиру она обещала освободить к вечеру. И задача не представлялась такой уж сложной: собственных Лериных вещей здесь было немного. Только книги, но книги Лера уже перевезла.

Наверное, надо было продать их тоже... деньги пригодятся.

Деньги Лера любила если не с рождения, то с детского сада точно. Уже тогда она четко осознала взаимосвязь между разноцветными бумажками в мамином кошельке и вещами, которые на эти бумажки выменивались.

По мнению Леры, да и не только ее – отец и бабушка придерживались той же позиции, – вещи мама выбирала без надлежащего тщания, с деньгами расставалась легко, будто бы не понимая, что однажды они могут закончиться.

– Балованная, – повторяла Лерина бабушка, придирчиво разглядывая покупки. – Батон небось в булочной брала. А в магазине-то дешевле. И селедку надо бы цельную... а чулки нашто?

Она вытягивала мамины колготы и, ухватив двумя пальцами, поднимала высоко, чтобы все видели бесполезную покупку.

– Порвались, – оправдывалась мама.

– Заштопай, – бабушка шипела и прихлупывала. Вечный ее насморк, который лечился вареными яйцами и картофелинами, но никогда не долечивался, делал речь неразборчивой. – Заштопай и нось.

– Я не могу ходить в штопанных колготках.

– Все могут, а она не может. Ишь, панночка.

– Я зарабатываю достаточно, чтобы купить себе пару колгот. Отдайте!

Бабушка отдавала. Во-первых, купленные колготы возврату не подлежали, во-вторых, их легко было порвать. А бабушка не могла позволить себе портить новые вещи.

– Зарабатывает она... о дитяти подумай! Ее растить надо. На ноги подымать, – бабушка говорила это монотонным скучным голосом, подтирая тряпочкой нос.

– Ей тоже хватит.

Они ругались до вечера, и вечером тоже. Лера засыпала под раздраженное бормотание, и оно преследовало ее в детских снах, рядясь в разноцветные колготы, все как один – штопанные, чужие.

Наверное, в Лериной жизни все могло бы сложиться иначе, останься мама с ними. Но ей однажды надоело экономить.

– Вы – совершенно невыносимые люди, – сказала мама. – Я с ума с вами схожу!

– Оно и видно.

Бабушка держала у переносицы свежесваренное яйцо, белое, с красной магазинной печатью. И Лера думала, отпечатается ли это клеймо на сухой бабкиной коже или нет.

– Я ее заберу. Позже.

Забрала мама лишь золотые серьги-гвоздики, подаренные ей ее мамой, да кожаную сумку. Лера, забравшись на подоконник – пришлось здорово подвинуть стаканы с прорастающим луком, – смотрела вниз, на маму, такую красивую в серой норковой шубке, на ее нового друга, тоже красивого, на черную «Волгу»...

– Не горюй, дитятко. – Сухая бабкина ладонь легла на Лерину голову. – Оно ить как в жизни? Одныя работают. Другыя хвостом крутят. А их потом жизнь возьме и прикрутит. Вот поглядишь, вернется...

Лера ждала, что бабкино предсказание сбудется. Она считала дни, забиралась на подоконник, который бабка упрямо заставляла луковыми стаканчиками. Лера смотрела во все глаза и ждала, что вот сейчас въедет во двор черная «Волга» и мама, красивая, в серой шубке, помашет рукой, а потом поднимется и скажет Лере:

– Собирайся. Поедем со мной.

И Лера поедет в тот другой, великолепный мир, где нет штопаных колгот.

Ожидание закончилось, когда отец привел в дом Клаву.

– Знакомься, Лерунь, это – тетя Клава, – он указал на женщину, высокую, тощую с выпирающим животом, на котором возлежали водянистые руки. – Она будет твоей мамой.

Клава работала в круглосуточной привокзальной столовой, откуда приносила пакеты еды – холодного пюре, комковатой пшенки, котлет и кусков курицы с беловатой жирной кожей. Еда отправлялась в морозильник, где могла храниться долго. Клавина рачительность всех радовала, и ссоры в доме прекратились. Клава не была плохим человеком, скорее уж равнодушным. Она с одинаковым спокойствием относилась и к супругу, и к Лере, и к собственному ребенку, который просто однажды появился в квартире.

Младенцу выделили старую кровать и старый же комод, потеснив Лерины вещи.

– В тесноте, зато свое, – сказала бабка, разглядывая бледного слабенького мальчишку. Он и кричать-то не умел, только кряхтел, будто бы от рождения был стар.

Младенца нарекли Иваном и начали приучать к экономии. Бабка достала с антресолей старые Лерины вещи, здраво рассудив, что младенцу плевать – мальчуковые они или девчочковые. Клава не возражала. Она как-то очень быстро вышла на работу, порекомендовав ребенка бабке и Лере. И в доме опять появились перемороженные котлеты, комковатое пюре и полезная пшенка...

Лера привыкла.

Эта привычка, въевшаяся в кровь, мешала. Она останавливала руку, потянувшуюся в кошелек. Она заставляла придирчиво вглядываться в вещи, искать в них не красоту, но практичность. Единственные купленные туфельки из белой замши, на тонюсенькой шпильке, стоили нескольких бессонных ночей и закончились обострением гастрита.

Если бы нашелся покупатель, Лера продала бы туфли, не задумываясь.

Но покупатели не находились, и туфли легли в шкаф. Надевать их было жалко. Иногда Лера доставала коробку, выносила ее на лоджию, к окну, на котором выстроились пластиковые стаканчики с головками лука, и разглядывала покупку.

Скидка в пятьдесят процентов. Это выгодно? Выгодно. Но Лера могла выбрать что-то более практичное. Без каблука – в каблуках часто ломаются супинаторы и набойки слетают регулярно. Не из замши, но из кожи или кожзама, который еще дешевле...

– Мы просто ждали подходящего случая, – Лера вытащила из коробки туфельку и прижалась к ней щекой. – Совершенно особого случая.

Обернув каждую туфельку рисовой бумагой, Лера уложила их обратно в коробку, а коробку отправила в сумку. Теперь кроссовки. Джинсы. Свитер и пара рубашек в клеточку, купленных в секунде, но с виду почти новых.

Скоро все изменится.

Белые туфли. Белое платье. И флердоранж в волосах. Из Леры получится красивая невеста.

Милочка выпаривала мочу. Вонь стояла невероятная, и Кирилл Васильевич не выдержал, сбежал в зал. Приоткрыв окно, он прижался к щели носом и задышал, втягивая резкие городские ароматы, спеша насладиться ими, но был пойман за сим предосудительным деянием.

– Кирюша! – Строгий Милочкин голос заставил отпрянуть от окна. – Что ты такое делаешь?

– Голова закружилась, – попробовал оправдаться он, понимая, что оправдания не спасут: Милочка была женщиной строгой, где-то даже суровой.

– Иди на кухню.

– Там воняет!

– Тебе просто надо привыкнуть.

Она повторяла это уже месяц, с тех самых пор, как перешла на новую систему по Малахову и заполонила кухню склянками с мочой. Желтоватая, та в банках гляделась вполне ничего, и всякий раз, поднося стакан ко рту, Кирилл Васильевич убеждал себя, что пьет сок.

В конце концов, уринотерапия лучше лечебного голодания...

– Пары урины благотворно влияют на состояние кожи. Твоя кожа омолодится, – сказала Милочка тоном, не терпящим возражений. – Разве ты не чувствуешь, как она омолаживается?

Единственное, что чувствовал Кирилл Васильевич, – это тошноту, о которой помалкивал. Не надо перечить Милочке, особенно теперь.

– А может, я лучше здесь посижу?

Милочка нахмурилась.

– Ты такой же маловерный, как и твой братец. – Она выставила указательный палец с пожелтевшим ногтем. – И такой же слабый. Вы оба думаете, что деньги решают все. На самом деле деньги – зло. На них скапливается отрицательная энергия. Скажешь, что не так?

Кирилл молчал.

– Деньги испортили тебя!

Его испортят, если Кирилл не найдет денег. Тридцать тысяч... когда только успел? А ведь поначалу карта шла, прямо-таки сама в руки просилась.

– Милочка!

– Что? Я говорила и буду говорить то, что думаю. И если ты меня стыдишься...

Кирилл Васильевич жены своей не стыдился, скорее уж того факта, что его, человека, в общем-то, разумного, угораздило влюбиться в эту одержимую странными идеями женщину.

Они познакомились на какой-то совершенно бессмысленной вечеринке, где «Агдам» закусывали бутербродами с варенкой, а на десерт предлагались карамельки «Мятные», где кипели споры, а словесные дуэли заканчивались объятиями. Где каждый второй считал себя диссидентом, а каждый первый – сочувствующим, но при том все диссидентство сводилось к кухонным разговорам на высокие темы.

– Скажите, вы верите в Бога? – спросили тогда еще не у Кирилла Васильевича, но у Кирюхи, мирового парня, молодого специалиста и перспективного кадра в одном лице.

Спрашивала девушка в круглых очках, с дужкой, замотанной синей лентой. С дужки свисала цепочка, и серебряный крестик лежал на смуглой щеке.

Кирюху очаровал этот крестик, а потом и щека, и пухлые вишневого цвета губы, и глаза ярко-синие, и черные цыганские кудри, которые то и дело падали на лицо. Девушка отбрасывала их небрежным резким жестом и хмурилась, раздражаясь этаким непослушностью волос.

– Так вы верите или нет?

– Конечно, нет, – ответил Кирюха и протянул стакан с «Агдамом» и надкушенный бутерброд. – А вы?

– Христианская концепция понимания божественного имеет множество недостатков. – Бутерброд и стакан незнакомка приняла. – Однако вместе с тем не следует отрицать, что средневековый теоцентризм оказал величайшее влияние на современную культуру.

– Советскую?

– И советскую в том числе. Человеку свойственно искать Бога, стремиться к совершенству...

Она говорила с таким пылом, с такой верой, какой Кирюха не встречал ни в одном из прошлых и нынешних своих знакомых. И жар ее слов переплавил скептическое его отношение.

Милочка – Милослава – привела его в храм, к темноликим иконам в кованых окладах. Она заставила дышать ладаном и слушать заунывные напевы богомольных старух...

Потом была свадьба. Герман высказался против.

И родителям Милочка-Милослава не глянулась. Не стоило ей тогда надевать черное платье и шляпку с вуалеткой. Не следовало вывешивать напоказ серебряный крест и говорить о Боге, вере и философии...

– Не следует нам туда ехать, – сказала Милочка, выдернув из воспоминаний.

Годы ее не пощадили. В черных волосах быстро проклюнулась седина, нарочито яркая, словно стремящаяся подчеркнуть Милочкину индивидуальность. Кожа потемнела и рано покрылась морщинами. Фигура оплыла, сделавшись бесполо-квадратной. Но и сейчас, глядя в ярко-голубые глаза, Кирилл Васильевич видел ту волшебную женщину.

– Ты меня слышишь, Кирилл?

– Он – мой брат.

Для Германа тридцать тысяч – копейки. Надо лишь попросить... объяснить...

– А я – твоя жена. И ты живешь со мной, а не с братом.

Она отложила палку, которой помешивала урину, и взяла его за руку.

– Посмотри мне в глаза. Ты не хочешь с ним встречаться. Ты помнишь, как он обошелся с нами?

– Герман переживал...

Жлоб он. И рассказывать про игру нельзя. Герман не выносит чужих слабостей, а карты – это слабость. Тогда что? Признаться Милочке. Она найдет выход. Всегда находила.

– А ты разве не переживал? Вера – твоя племянница. Мы ее любили. Мы скорбим о ней. А он – женился на этой проходимке. А тебе – ни словечка. Как будто бы ты ему и не родной, – она сжала руки. Милочкины пальцы, несмотря на кажущуюся пухлость, были крепки. – Но вот теперь он тебя зовет. И ты бежишь на зов, роняя тапки.

Тапки оставались на ногах Кирилла.

– Кирилл, скажи, что дело не в долгах.

Кирилл молчал. Милочка хмурилась.

– Ты же обещал мне, что...

– Так получилось, солнышко... я обещаю, что это – в последний раз.

На кухне что-то зашипело, и вонь усилилась многократно. Ойкнув, Милочка бросилась прочь.

С внезапным раздражением – пора бы ей остепениться, в ее-то годы – Кирилл распахнул окно и вдохнул смолистый сладкий воздух.

Завтра же... он завтра встретится с Германом и, если повезет, получит свои тридцать тысяч.

Лучше бы сорок. С запасом.

Полина ходила по квартире босиком. Эта привычка завелась у нее не так давно, аккуратно после похорон. В тот день у Полины пропали вязаные чулки, и она, вечно мерзнувшая, неспособная выдержать малейшего сквозняка, растерялась.

Конечно, сейчас Полина понимала, что причина растерянности – нечеловеческое напряжение, стресс и страх перед будущим, но тогда она просто разрыдалась. И плакала долго, горько, до распухших век и осклизлого от соплей носа.

– Чего ревешь? – хмуро спросил Герман Васильевич, которому не спалось и не работалось.

– Н-носки потеряла, – ответила Полина, торопливо вытирая слезы. Она знала, что хозяин слез на дух не переносил. Но тут он вытащил мятый платок и сунул в руку.

– На...

Полина была уверена: именно тот короткий разговор изменил ее судьбу. И когда всем прочим было отказано от дома, Полине предложили остаться. А потом она вышла замуж и стала полновластной хозяйкой квартиры. И сняв с полки фарфорового голубка, Полина промурлыкала:

Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках...

Говоря по правде, Герман мало походил на золотую рыбку и внешностью, и характером. Зато был щедр и страдал аритмией. А в совокупности с нездоровым образом жизни, оздоравливать который Герман категорически не желал, Полинино замужество грозилось быть недолгим.

От золотой рыбки останутся палаты царские... и счета заморские... и каменье драгоценных сундуки. Один такой стоял в Полинином будуаре. Сундук был не так чтобы велик, да и камни в нем лежали не самые дорогие, но прежде-то у Полины не имелось собственных украшений.

Гранатовый браслет, совсем как у Веры Николаевны, только лучше. Жемчужная нить, пусть и с плохоньким, неровным жемчугом. Гарнитур с бирюзой и перстень с опалом...

Полина полюбила, сидя на полу, лаская пальцами босых ног ворс ковра, раскладывать свои сокровища. Она не примеряла камни, лишь разглядывала. В разноцветных глубинах ей виделось странное, и это странное Полину завораживало, напрочь лишая воли. Оно шептало, что у Германа имеются другие камни, настоящие алмазы и рубины, кольцо сапфировое, фермуар с изумрудами и аметистовые подвески... или те серьги, с саламандрами в бледно-голубых бриллиантах, о которых Полина не желала помнить. Герман, к счастью, тоже не вспоминал.

Были. Сплыли. Лишь бы не вернулись... ну их, проклятых. Не то чтобы Полина верила, скорее уж осторожность проявляла. Осторожность никогда не помешает.

А вот кольцо она бы примерила. Полина просила, а Герман отказывал. Раз за разом...

– Зар-р-раза, – передразнила Полина собственную мысль. – Он просто меня не любит. Он скоро поймет, что меня не любит...

Солнечный янтарь, согретый теплом ее тела, ответил, что да, Полине следует поспешить. Ведь если Герман решит, что Полина ему надоела, он просто выбросит ее.

Ненужные вещи всегда выбрасывают.

– Но он ошибается, – Полина надела перстень на мизинец ноги и, отставив, полюбывалась. В гладком озере кабошона тонул свет.

Хорошо бы Герману уйти... но можно ли рассчитывать на судьбу? Полина знала точный ответ.

Глава 4

Учение – свет

Ночь Саломея провела в библиотеке. Конечно, ее библиотека была много меньше отцовской, но все же книг собралось достаточно. Они заполнили шкафы и полки, собрались на полу в книжные башни, пробрались на кухню, в ванную комнату и туалет. Время от времени Саломея бралась наводить порядки, но как правило, порыв этот длился недолго, а наведенный порядок держался и того меньше.

Отобрав нужные тома, Саломея перенесла их к камину: старые и новые, с глянцевой печатью и с древними хрупкими страницами, переложенными листами рисовой бумаги, в обложках из плотного картона, дерева, сафьяна, а порой и вовсе без обложек, но в холщовых чехлах. Имелись и свитки, большей частью копии, пусть и выполненные с высочайшей точностью.

Все это добро Саломея раскладывала на ковре, привычно сортируя по важности и нужности. Эта работа, в общем-то бессмысленная, позволяла успокоиться и обдумать вечер.

В камине горел огонь. Ровный, вежливый, он вальяжно переползал с бревна на бревно, иногда подбираясь к решетке, выглядывая через прутья, чтобы тотчас убраться прочь. Тепло ласкало босые пятки, а в воздухе кружились редкие пока бабочки из пепла.

И Саломея, притаив с кухни любимую кружку из цельного янтаря, приступила к чтению. Ее взгляд скользил по страницам, а страниц было бесчисленно. И на каждой обитала саламандра. Ящерицы постепенно окружали. Рисованные и перерисованные, разевающие пасти, чтобы изрыгнуть пламя, и поднимающиеся на задние лапы. Ящерицы-львы и ящерицы-гепарды, крапчатого, золотистого, серебряного, черного и белого цветов. Они жили на гербах, символизируя стойкость и чистоту, высшую степень святости. И лишь пеликан, собственной кровью кормящий птенцов, мог потеснить их с пьедестала.

Эти саламандры ложились по правую руку.

Но были и другие – хитрые, коварные создания. Они обитали в огне и готовы были войти с огнем в каждый дом, буде сказано там неосторожное слово. Они рождались с водой, воду отравляя. Они рыли норы в земле, и земля умирала, рождая лишь гниль да плесень. Ветер, подхватив дыхание саламандры, нес его по-над землей, и следом за ветром, догоняя, летел черный мор.

Эти саламандры отправлялись в левую стопку. Книг в ней было всего ничего.

Да и авторы не заслуживали доверия, но Саломея верила не авторам – пепелищу, на месте которого до сих пор ничего не росло.

Впрочем, поиски ее, которые начинались уже не в первый раз, закончились стеной: саламандры смеялись над Саломеей. Они дразнили ее, показываясь в тенях и полутенях, как показались однажды Челлини, изуродовав душу его страстью к совершенству, а разум – пониманием, что совершенство никогда не будет достигнуто. Подсовывали загадку, не собираясь давать отгадку.

Илья Далматов, появившийся именно теперь, когда зима готовит наступление, а собственная оборона Саломеи слабеет, тоже был частью их плана. Он хорошо говорил.

Правильно.

Именно так, чтобы Саломея слышала. И эта правильность настораживала.

«Он ведь вашего племени?» – спросила Саломея у одноглазой саламандры, которая смиренно и бездвижно лежала в Папусовой шкатулке. Давно истлевший чудодей, маг и алхимик умел управляться с заповедью. Наверное, поэтому заповедь его и сгубило.

«Далматову не нужна я, чтобы разобраться с этой историей. И муки совести его прежде не преследовали».

«Когда прежде?» – поинтересовалась саламандра, выглядывая из камина. Пламя вылепило неуклюжее тело с пухлыми лапами, треугольную голову и длинный цепкий хвост, который вывалился через решетку и огненной змейкой пополз к ковру.

Саломея подняла щетку, и хвост убрался в камин.

«Прежде – это прежде, – проворчала ящерица. – А сейчас – это сейчас. Разница есть».

«Думаешь, он изменился?»

«Это ты думаешь. А меня вообще не существует».

«Тогда с кем я разговариваю?»

«Со своим воображением». Саламандра рассыпалась на язычки пламени, а те хлынули водопадом на пол. И погасли – им не хватило сил перебраться через полосу огнеупорной плитки.

«Раньше – это раньше. – Саломея легла на живот и открыла книгу. – Раньше он...»

Молчал почти все время. Саломее хотелось его разговорить, ей казалось, что если человек молчит, то, значит, обижен или несчастен. В том доме легко было быть несчастным. Саломея терялась, попадая в него, и, побывав однажды, во второй раз попросила оставить ее дома, но отец вдруг отказал. Он никогда и ни в чем Саломее не отказывал, и она растерялась, а от растерянности заплакала. Тогда отец нахмурился и сказал, что Саломее пора взрослеть, а мама его поддержала, и только бабушка была против:

– Не давите на ребенка. Можно подумать, на Далматовых свет клином сошелся. Мне они тоже не нравятся.

– Мама, ну вот давайте не сейчас...

– А когда? – спрашивала бабушка и, чтобы убить ссору в зародыше, замолкала. Она поднималась в библиотеку, садилась в кресло-качалку, набрасывала на колени плед, а в руки брала томик сказок Киплинга. Рядом с книгой всегда находился футляр с бабушкиным коньячным бокалом.

– Вы хотите скрестить Каа и бандерлога!

Бабушкин голос догонял Саломею уже в коридоре. И она замирала, борясь с желанием броситься прочь, спрятаться за креслом, под пледом, сидеть, слушая, как бабушка читает Киплинга, и смотреть сквозь линзу из стекла и коньяка. Мир тогда окрашивается в солнечно-янтарные цвета.

Но разве могла Саломея подвести отца?

Да и не исчезнет бабушка, Киплинг и бокал в виде трубки, с длинным чубуком и круглым ложом, куда коньяк подливался крохотными порциями. По дороге к Далматовым Саломея представляла, как вернется...

– Милая. – Отец сказал это, когда машина остановилась у ворот мрачного – именно мрачного, даже в солнечный день – особняка. – Постарайся быть с Ильей добрее. Ему просто надо слегка оттаять.

– И тогда что?

– И тогда все станет по-другому.

– Обещаешь?

– Клянусь! – Отец торжественно поднял левую руку и скрестил пальцы. Тогда Саломея ему поверила.

Она переступала порог с твердым намерением оттаять Илью Далматова во что бы то ни стало. Только вот ему совершенно не хотелось меняться.

– Так с чего бы вдруг теперь? – поинтересовалась Саломея не то у огненной ящерицы, не то у собственного воображения.

Пламя в камине почти погасло. Чай был допит, и кружка привычно потускнела. Зато ночь за окном готовилась к рассвету, стелила бледно-лиловые простыни. Вдруг стало зябко, неуютно. Но Саломея, вместо того, чтобы спрятаться под одеяло, вышла на балкон.

Холодный камень ожег ноги, а ветер стер пот со лба, забрался под рубашку и обвил поясницу ледяной змеей. Но Саломея не уходила. Она смотрела вниз, на город в ожерелье огней. Он дышал через трубы теплоцентралей, развешивал над дорогами туманы и серебрил кромки тротуаров первым льдом.

Скоро зима.

Зимой будет плохо. Теперь Саломея понимает – что такое замерзать изнутри. Разговорами этот лед не растопить.

Далматов оказался чересчур уж пунктуален. Он появился, когда Саломея пыталась упаковать чемодан, а именно: сидя на крышке, застегивала замки. Чемодан подобному обращению сопротивлялся, и стоило привстать, как замки открывались с громкими щелчками.

– Я уже почти, – сказала Саломея и закрыла дверь.

В дверь тотчас позвонили.

– Ну мне всего... минуточка всего.

Или две, а лучше бы три или пять-десять. Определенно список «самого необходимого» требовал корректировки.

– Да хоть двадцать, – Далматов вставил ногу между дверью и косяком. – На лестнице я ждать не стану.

– А в квартире станешь?

Жуть как не хотелось пускать его внутрь. Не то чтобы у Саломеи имелись тайны или ей стыдно было за книжный развал – стыдно, конечно, но самую малость, – просто она не любила чужих людей в своем доме.

– Серебряные ложечки обещаю не красть! – сказал Далматов, чуть надавливая на дверь. И Саломея отступила.

– Тебе не говорили, что ты – наглый?

Ноги он все-таки вытер.

– Говорили. Но в наше время наглость – это достоинство. Так, значит, ты теперь здесь обитаешь? Не маловато места?

Он переступил через Британскую энциклопедию и собрание сказок братьев Гримм в издании 1905 года.

– Не стоит читать всякую гадость, – репринтное издание Ключей Соломоновых отправилось в мусорное ведро. Следом полетели Некрономикон и Магия Арбателю.

– Прекрати! И... и мы, кажется, опаздываем.

– Без нас не начнут.

Илья снял с полки хрустальный шар и, взвесив на ладони, вынес вердикт:

– Фальшивка. Стекло, а то и пластмасса.

– Без тебя знаю, – буркнула Саломея, сердясь на себя, что не в состоянии выставить его из квартиры. И даже отойти на секунду, чтобы управиться с чемоданом, который точно сам не закроется.

– Тогда зачем?

– У бабушки был такой. Тоже фальшивый. Она знала, но все равно... Да какое тебе дело?!

– Никакого. Не горячись. Давай лучше помогу. Тебе ведь нужна помощь?

И Саломея согласилась, что помощь ей нужна, просто-таки жизненно необходима. Как ни странно, Далматов не стал язвить, просто как-то хитро дернул чемодан, и матерчатая пасть захлопнулась.

– Моя мать на дух не переносила фальшивок. Говорила, что себя не обманешь. А других – какой смысл. – Илья взялся нести багаж, и Саломея не стала спорить.

Она держалась позади, страстно желая спрятаться в тень, но теней, как назло, не встречалось: утро выдалось ясным. И Далматов на секунду задержался, точно сомневаясь, стоит ли ему выходить на солнце, но все-таки вышел, прикрыв глаза свободной рукой.

– Поедем на твоей, – сказал он. – И ты за рулем.

Саломея спорить не стала. Ничего не сказала она и когда Далматов забрался на заднее сиденье и, задернув шторы, лег.

– Извини, но от такого света мигрень начинается. Ненавижу мигрени. Гречков желает однозначного ответа. По легенде, ты – моя невеста.

– Что? – Саломея едва руль не выпустила.

– За дорогой следи. Я слишком молод, чтобы умереть. Тем более настолько идиотским способом. Черт, – он сжал голову ладонями. – Не обращай внимания. Пройдет. Всегда проходит. Надо подождать. Я не люблю солнце. Ты – да. Я – нет.

– Тебе плохо?

– Сама как думаешь? Свет и тьма. Что есть свет, как не отсутствие тьмы. Что есть тьма, если не отсутствие света. Таким образом, свет и тьма – лишь частные случаи тени. Трисмегист тоже фальшивка. Ты – нет. Гречков не терпит посторонних. Теперь ты не посторонняя. Формально я прав. Договор был заключен.

– Какой договор? – мягко поинтересовалась Саломея. Ее предчувствие, что грядущая поездка принесет немало сюрпризов, оправдывалось.

– Не имеет значения. Запоминай. Гречков Герман Васильевич. Глупо называть сына Германом, если сам – Василий. Диссонанс. Шестьдесят три года. Женат второй раз. Первая жена умерла. Дочку назвали Верой. Вера мертва. Значит, детей больше нет. И не будет. Ты можешь ехать аккуратней? Меня трясет.

Это раздражение не было игрой, впрочем, как и мигрень. Далматов побелел и вытянулся, насколько это было возможно в машине.

– У тебя неудобная машина. И цвет идиотский. Только полная дура станет красить джип в розовый. Он поднялся на туалетной бумаге. Бумажный завод. Макулатура. Переработка. Теперь заводов пять. Ассортимент. Почему розовый?

– Какой был, такой купила.

Саломея разрывалась между чувством вины и желанием выкинуть Илью из машины. Розовый, голубой, да хоть лиловый в крапинку – не его собачье дело!

Далматов замолчал. Он молчал так долго, что Саломея не выдержала – оглянулась, проверяя, не уснул ли. Он лежал с открытыми глазами и казался неживым.

Наверное, следовало остановиться. Или развернуться. Ему в больницу надо... или хотя бы домой. Интересно, он все еще обитает в том странном страшном доме, где множество вещей, но совсем нет места людям? А если нет, то где обитает? И чем занимается?

И почему он именно сейчас на Саломею вышел?

Вопросы размножались, как кролики в вольере. И Саломея велела себе сосредоточиться на дороге.

Раз береза, два береза... три и четыре. Рябина в гранатовых серьгах. У матери Ильи имелся гранатовый гарнитур, мелкие темные камни. Некрасиво.

Далматов в мать пошел.

А дорога – в гору. И с горы, разворачиваясь широкой дугой. Мелькали на обочине деревеньки за куцыми заборами придорожных посадок. Темнела земля, замерзала без снежной шубы. Солнце гасло. Медленно, незаметно для большинства людей, но Саломея чувствовала, как оно умирает. И агония эта вызывала глухую тоску.

Впору впиться в руль зубами, сдавить, зарычать или заплакать.

Но уж никак не пялиться на асфальтовую полосу с белой лентой разметки. А она пялилась и вела машину, на заднем сиденье которой спал давний детский враг и фиктивный жених.

Он очнулся лишь на въезде в городок Приреченск, не то от грохота отбойного молотка, который загонял в мерзлую землю сваи, не то от тряски на гравийной плохонькой дороге, не то просто почуяв, что уже прибыли.

Далматов моргнул и заговорил:

– Кирилл Васильевич. Младший брат. Неудачник. Так Герман думает. Он пытался поставить младшенького на завод. Но тот облажался. Не завод. Кирилл. Была ссора. Сегодня мне твоя прическа нравится больше. У него жена. Милослава. Герман ее не любит. Мы разберемся и получим серьги. Серьги-сережки... у мамы были с аметистами. Мне нравились. А ты серег не носишь. Почему?

– Уши не проколоты.

Городок был неуютен. Он появился в сороковые, рядом с заводом, и начался с бараков, которые позже сменились типовыми пятиэтажками. Теперь поднимались к небу уродливые башни, расползались ангары супермаркетов, обзаводясь сателлитами стоянок. Дороги же пестрели заплатами, а редкие указатели пребывали в состоянии столь плачевном, что прочесть написанное было вовсе не возможно.

– Я подарю тебе серьги. Другие. Полина. Чуть старше Веры. Удачная невеста. Медучилище за плечами. Работа сиделкой. Направо на светофоре. Потом прямо до торгового центра. Вера болела. Много болела. И я много болел. Когда мигрень – сложно держать логическую цепочку. Особенно длинную. Дом длинный. Самый высокий. Самый дорогой. Полина ухаживала. Стала компаньонкой. Осталась. Он не рад, что женился. Думает о разводе. Вряд ли ей понравится. А я вчера соврал. Ты мне нравишься. Очень.

– Мы приехали, – Саломея припарковалась в соседнем дворе.

– Сейчас. Я соберусь. Остались двое. Лера. Подруга. Очередной вопрос – откуда. Слишком разные. Лера – нищая. По мнению Гречкова. И жадная. Жадность – не порок. Ничто не порок, пока не мешает жить. А тебе что-то мешает. Что?

Саломея не стала отвечать.

– Андрей. Актер-неудачник. Ненавижу, когда пытаются устраивать жизнь. Твой отец – умный. Он остановился. Отложил дело на неопределенный срок... только все равно... считай, повезло, что так. Мы не обязаны держать их слово. Теперь – не обязаны. Черт, каша в голове. Сама лови нужное. Серьги купил Андрей. Но это просто. Никогда не бывает, чтобы просто.

Он сел рывком и тряхнул головой, не выпуская, впрочем, ее из рук.

Саломея, не желая ни помогать, ни быть свидетелем чужой слабости, выбралась наружу.

Дом, в котором обреталось семейство Гречковых, в городе знали. Его называли и небо-скребом, и башней, хотя этажей он имел всего лишь двадцать. Дом был серым, скучным, и глянцева чернота тонированных окон не придавала облику интересности.

– До того как пойти в актеры, Андрей учился в химико-технологическом... давно... знания не стареют. Только мотивы не вижу. Если серьги купил, значит, есть мотив.

Определенно ведь никто никогда не убивает просто ради убийства. Точнее, Саломея слышала, будто бы существуют и такие люди, но не верила. Мотив есть всегда. Порой понятный, порой – извращенный, логичный лишь в безумном мире одного человека, но есть.

– Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. – Она повернулась и протянула Далматову руку. – Вставай. Кажется, нам пора.

И он принял помощь.

Прикосновение было неприятно. Сухая жесткая ладонь, холодная, как перчатка из змеиной кожи.

Саломее просто надо время, чтобы привыкнуть. И присмотреться. Возможно, все не так плохо, как кажется. Возможно, все куда хуже.

Глава 5

А ты кто такой?

Герман любил власть. Он никогда не признался бы себе в этой любви, как и в том, что именно она не позволяет ему быть счастливым. Власть, которую Гречков собирал год за годом – деньгами ли, подчиненными его воле людьми и людьми вроде бы независимыми, но по слабости своей готовыми принять его, Германа, руку, была слишком мала.

Стоя на балконе квартиры – центр города, девять комнат с тремя спальнями и двумя санузлами, с общей площадью под пятьсот квадратных метров, – он понимал, что снова несчастен.

Вера сбежала.

Почему? Он ведь был добр к ней, как ни к кому другому. Он заботился о своей девочке, он сложил к ее ногам все то, что имел сам...

За исключением власти.

Но Вере власть была не нужна. Она и не задумывалась о том, что это такое, принимая как данность вращение вселенной вокруг оси собственного бытия. А Герману нравилось вертеть эту самую ось. И создавая мир для Веры, он чувствовал себя всемогущим.

А потом он оказался безвластен перед случайностью.

Если дело в случайности. Герман ведь подозревал... подозревал, но не желал видеть, думая, что в собственном доме он знает все и обо всех. А вышло – ошибся.

Но кто виноват?

Лера? Ничтожное создание, мелкое, мелочное, крысopodobное, готовое тащить в нору все, что нужно и что не нужно. Завидовала ли она Вере? Несомненно. Любая фрейлина желает занять место королевы. Но со смертью Веры Лера лишь проиграла, ведь первым же делом Герман вышвырнул ее из дому. В его владениях не осталось места для крыс.

Тогда Андрюша, сладкий мальчик, одолженная игрушка, которая сломалась до срока. Он ведь нарушил условия сделки, и пусть тот его роман прошел мимо Веры, но сам прецедент стоил внимания. Оступившийся раз, оступится и второй. Но убийство...

– Милый, ты не замерз? – Поинка выглянула на балкон и тотчас отступила.

А и вправду прохладно. Скоро зима. Северный ветер несет мелкий снег, и тот налипает на стены, деревья, металлические штыри столбов и оград.

– Там Кирилл приехал. С этой... Милой. И еще какой-то тип, который утверждает, что ты его нанял.

Кирилл... Он любил Веру, называл ее Верочкой и учил рисовать. Только это было давно, до того, как Герман нанял преподавателей – его дочь должны учить лучшие, а Кирилл никогда лучшим не был. Он и не стремился быть, существуя в каком-то придонном слое, охотно мешаясь с другими людьми, вникая в их проблемы и чаяния. Все это было непонятно Герману.

Но его супруга иной закалки, пусть и притворяется овцой, но Герман знает правду. Рассчитывала ли она на наследство? Или просто мстила?

– Герман, – Поинка напомнила о своем существовании. – Люди ждут. Ты выйдешь?

Выйдет. А ведь больше всех выиграла именно Поинка.

– Выйду, – Герман не без труда отогнал неприятную мысль.

Он, конечно, сглупил, женившись. Но после смерти Веры в доме, в самой жизни Германа образовалась пустота, которая мешала думать и дышать. А Поинка выглядела такой... слабенькой. Нежной. Беззащитной.

Почти как Вера.

– Я... я понимаю, что тебе это не нравится, милый. Мне тоже. Но я уверена, что мы должны пройти через все это. Ради Веры. – Она прижала ладони к груди. – Пожалуйста, Герман. Ради меня.

Но если она убила Веру, то почему сейчас настаивает на расследовании? А потому, как уверена в бессмысленности его? В практицизме Германа? В том, что гадалке он не поверит? И он не верит. Он видит фальшь в этой игре, но подхватывает ее.

Зачем?

Чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. Чтобы показать им всем, падальщикам, летящим к его дому, что Герман не позволит играть собой.

– Переоденься, – сказал он Полине, и та кивнула. – То синее платье. И платок какой накинй. Нечего голыми плечами стрелять.

Это не было проявлением ревности или же недоверия: она не настолько глупа, чтобы изменить. Герман лишь проверял готовность подчиняться.

Он ведь любил власть.

Милослава нервничала. Это место всегда оказывало негативное влияние на ее энергетический потенциал. Аура квартиры пестрела темными пятнами, которых со временем становилось все больше и больше. Милослава не сомневалась, что ванная комната и вовсе будет иссиня-черной.

Бежать отсюда надо! Бежать! Как не ощущают они запах гнили? Тлена? Облако бурого цвета окружило Германа. Ключья его повисли на Полине, которая сильно переменилась за эти два года и не в лучшую сторону. Хитрая наглая тварь... Открыв дверь, она воззрилась на Милочку с невыносимым презрением.

– Здравствуйте, – сказала она и, отступив в глубь квартиры, бросила: – Заходите, чего уж... от вас воняет.

От нее самой, невзирая на крема, тальки и духи, смердело больным духом.

Сейчас Полина держалась позади Германа, глядя лишь на него с притворным обожанием, с восторгом, с просто-таки неприличной страстью. А Герман будто бы и не замечал молодой жены. Впрочем, на Кирюшу он тоже не смотрел, а к чужакам подошел: белобрысому парню болезненного вида и огненно-рыжей девице.

Парню Герман пожал руку, а девице представился:

– Герман Васильевич.

– Саломея, – ответила та. – А это...

– Кирилл, – Герман ткнул пальцем в угол, где стояли Кирилл и сама Милослава. – Славка, его супружница. Полинка. Моя супружница. Андрюха и Лерка еще подъедут.

Он нахмурился, демонстрируя недовольство этим опозданием.

– Саломея, – повторила рыжая, обращаясь уже ко всем.

– Илья, – парень говорил тихо. Болен он, что ли?

Милослава прищурилась, вывернула шею, пытаясь разглядеть его ауру, но, сколько ни пыталась, увидела лишь белесое пятно. И что бы это могло значить?

Она совсем было задумалась, вспоминая прочитанные книги, но в дверь позвонили.

– Открой, – велел Герман, и Полина направилась к двери. Она шла быстрым семенящим шагом, как будто сразу и торопилась, и не желала эту торопливость показывать. И все же двигалась слишком медленно, потому как второй звонок разрушил затянувшуюся паузу.

– Знаешь, Герман, – Милослава решила воспользоваться моментом, – тебе следует продать эту квартиру. Тебе следует вообще избавиться от имущества.

– Ну да, – хмыкнул он и плюхнулся в кресло.

Герман не умел красиво двигаться.

Разные они с братом.

Кирилл – существо нежное, с идеалистическим взглядом на жизнь. В молодости он был высок, сухощав, изящен. Кирилл обладал женственной плавностью движений и ничуть не стыдился того, как не стыдился мягкого своего лица или высокого для мужчины голоса. Даже старел Кирюша интеллигентно, без залысин, но с благородной сединой.

Герман – другой. Квадратный. Уродливый, как бетонная глыбина, обтесанная на скорую руку. Ей придали человеческий облик, но внутри, в душе, бетон остался бетоном.

– Материальное тебя губит, – Милослава тоже присела, пусть Герман и не приглашал ее. Он и не пригласит. Он и в дом-то позвал лишь Кирилла. А ее как будто и не существовало.

Герман был бы рад, если бы ее не существовало.

– Добрый день всем! – Андрюша появился с обычной для него помпой. Милославу всегда удивляло, как этот мелкий, невзрачный, в сущности, человек создает столько неудобств? Как выходит у него выглядеть больше, значительнее, важнее? Лера, державшаяся за Полиной, напротив, казалась тенью.

Бедная девочка. Ее изуродовали ее страсти. Всех здесь изуродовали их страсти.

– Короче, так, – Герман развалился в кресле. Руки его лежали на животе, ноги, согнутые в коленях, растопыривались, локти упирались в подлокотники, отчего узкие Германовы плечи горбились. И круглая кочковатая голова терялась среди этих горбов. – Я вас позвал, потому что появилось... гм... предположение, что с Веркой не все было... несчастным случаем.

Герман запинается? И краснеет? Он злоупотребляет спиртным и еще жареным, копченым, острым и соленым. Гипертония – закономерный итог.

– Опять? Герман Васильевич, мы это уже проходили. – Андрей уселся на столик и, вытянув ноги, уставился на собственные ботинки. Глянцевые, остроносые, но дешевые.

Нелегко ему в опале.

– Еще раз пройдем, – Герман обвел всех тяжелым взглядом. – И будем проходить столько раз, сколько понадобится. Ясно?

– Милый, не волнуйся. Тебе вредно, – Полина встала рядом с супругом и, выудив из рукава платочек, сунулась было пот вытирать. Но Герман от подобной заботы отмахнулся.

– Это Далматов. Специалист по... деликатным вопросам. Его невеста...

Невеста? Какая наглая ложь. Эти двое отличаются друг от друга, как... как свет и тьма. Милослава улыбнулась, довольная подобным сравнением.

Наверное, ей стоило попробовать писать. Она писала раньше, давно уже, но те рассказы, которые так нравились маме, были лишены смысла. Теперь же все иначе. Ей есть что сказать людям.

О чем предупредить.

– Помогайте им, и вы поможете мне. А кто поможет мне – того не забуду. Ясно?

Лера кивнула. Андрей фыркнул. Полина закатила глаза. О да, девочка научилась играть примерную жену, вот только научиться бы ей не переигрывать.

– Вечером придет еще одна... дама. Экстрасенс.

– Кто? Герман Васильевич! Вы ли это?! – Андрей засмеялся, но смех его был нервозен.

– Я. А ты замолкни пока.

Замолкать Андрей не собирался. Вскочив, он взмахнул руками:

– Да вас же просто-напросто разводят! Специалисты... эти вот специалисты? В чем?

Подлетев к парню, Андрей схватил его за рукав свитера, во всяком случае, попытался схватить. Но парень – Илья, его зовут Илья, и это имя не подходит ему – текучим нечеловеческим движением переместился за спину Андрея и легонько, как показалось Милославе, ткнул того в спину.

– Тв... тварь, – просипел Андрей, вдруг приседая. – Т-ты...

Милослава видела его лицо, скрытое ото всех, но отраженное зеркалом, видела глубокую ненависть, на нем проступившую, ярость, которая, впрочем, исчезла столь же быстро, как и появилась.

– С... специалист, – Андрей поднимался медленно, обеими руками держась за спину. – Точно специалист... а она, значит, специалистка?

Рыжей происходящее было не по вкусу, но она молчала.

– Х-хороша специалистка...

– Тронешь – руку сломаю, – так же тихо и спокойно произнес Илья. И Милослава поверила, что он действительно сломает: руку, ногу, шею. И не будут его преследовать угрызения совести – он ведь предупреждал.

Андрей внял предупреждению и руку, протянутую к девице, убрал, на всякий случай – за спину.

– Извините, мадемуазель. В другой раз познакомимся. В более... интимной обстановке. – Он отступал, птясь, не спуская настороженного взгляда с Ильи и все же пытаясь выглядеть несмешным. – Но это ничего не меняет. Вас, Герман Васильевич, на бабки разводят! Я знаю таких...

– А ты мои бабки не считай. Лерка, ты в своей старой комнате поживешь... – Герман Васильевич поднялся, с трудом, с кряхтением. А он еле-еле управляет с грузным своим телом. Неужели не понимает, сколь опасно нынешнее его положение? Ведь в любой момент тело способно подвести.

– Кирюха – ну ты сам разберешься. А вам Поинка покажет.

Инсульт. Инфаркт.

Несчастный случай.

И тогда... тогда все изменится.

– Вот придурок, – пробормотал Андрей, когда Герман покинул комнату. – Не понимаю, что я тут делаю?

Денег ждет. Все здесь ждут денег.

До чего противно.

– Идем, Кирюша, – Милослава взяла супруга под руку. – Тебе надо отдохнуть. И принять лекарство.

Лекарство она приготовила заранее. Главное, чтобы урина не расплескалась по дороге.

Глава 6

Один плюс один

Металлический привкус во рту был следствием мигрени, равно как и слабость, с которой Далматов боролся. У него получалось держаться, сказывалась привычка, но вот мысли все еще путались.

– Зачем ты его ударил? – шепотом поинтересовалась Саломея. Пальцы ее нервно дергались, перебирали складочки шелкового шарфа какой-то совершенно невообразимой пестрой окраски.

Мама предпочитала сдержанные тона и точно не надела бы это сине-желто-зелено-красное убожество. Но странным образом Саломее многоцветье было к лицу.

– Затем, чтобы он воспринял меня всерьез.

– И что теперь?

Теперь бы упасть куда-нибудь на час, лучше – полтора. Немного сна, и Далматов возродится к жизни, чтобы признать: его затея с треском провалилась.

– Я провожу вас в вашу комнату, – Полина улыбалась. Профессионально так. Дрессированно.

Еще немного, и Далматов поверит, что его рады видеть в этом замечательном доме.

– Надеюсь, вы не обиделись на Андрюшу? Он немного шут.

Тоже переигрывает. Под этой крышей собралось изрядно бездарных актеров. И похоже, что Далматов вот-вот пополнит их ряды.

– А Лера все так же уныла. Я не представляю, зачем ее Вера держала при себе? Они ведь не дружили. Вера ни с кем не дружила. Не умела. Знаете, она была такой... болезненной. Хрупкой. Как перемороженная мимоза. Вот, здесь вам будет удобно. Это Верина комната. Здесь все так, как было при ней.

И данное обстоятельство Полине не по вкусу. Ее недовольство вылезает, как солома из прогнившего мешка. Щетинятся острые стебли, царапают.

– Мы посмотримся, – сказала Саломея. – Если вы не возражаете. Осмотримся и поговорим.

Полина кивнула, показывая, что она все распрекрасно понимает. Будет ли она подслушивать? При других обстоятельствах – несомненно. Но не здесь и не сейчас.

Апартаменты покойной Веры Германовны оказались просторны, захламлены вещами, не сочетавшимися друг с другом ни по стилю, ни по эпохе, ни по каким-либо иным параметрам. В гостиной с основательными диванами эпохи королевы Виктории мирно уживались китайские ковры из искусственной шерсти и пластиковые дизайнерские стулья, напоминавшие куски оплывшего воска. Пара медных канделябров, покрытых слишком уж равномерным слоем патины – ни дать ни взять глазурь на торте, – отражалась в огромном зеркале, чья рама была исполнена весьма и весьма искусно.

За гостиной скрывалась спальня с массивной кроватью под балдахином.

– Ты спишь на диване, – безапелляционно заявила Саломея. И тут же передумала: – Или я.

Имелась в наличии и ванная комната, надо полагать – та самая, в которой утонула Вера.

– Здесь неприятно, – сказала Саломея, и Далматов с ней согласился.

Слишком много места. Слишком много белого и стального, блестящего и этим блеском провоцирующего новый приступ мигрени.

– Неправильно. Как будто... – Саломея переступила через высокий порог, – как будто чего-то не хватает.

Она опустилась на четвереньки, а потом и вовсе легла, распластавшись на стерильно-белоснежной плитке. Не в силах больше выносить эту белизну, Илья достал очки.

– Я угадала, – в голосе Саломеи звучала печаль. – Ты специально все.

– Что именно?

– Мигрень. Это ведь хроническое заболевание. Бабушка мигренями страдала. И всегда носила с собой лавандовую соль. А еще терпеть не могла Вагнеровские марши и запах тушеных перцев. Говорила, что именно от них мигрень и начинается. У нее – от перцев. У тебя – от солнца. Но ты все равно полез. Зачем? Разжалобить меня?

– Обычно срабатывает. С женщинами. Мужчины реагируют иначе.

– Я не люблю, когда мне врут.

– Я не врал.

Теперь, сквозь затененные стекла, Илья видел комнату иначе. Квадрат. Площадь – метров двадцать. Два окна. Восемь пилястр, разрывающих пространство. Зеркала. Умывальник – стеклянная чаша на хромированном стебле. Ванна, которая достаточно велика, чтобы поместились двое.

Вдвоем тонуть неудобно.

– Ты манипулировал.

Но есть и другие, куда более интересные занятия.

– Считаю, что я уже наказан.

Отголоски боли окопались в районе затылка. Эта пехота будет держаться до утра, и хорошо, если, отступая, не станет взрывать позиции.

И все-таки ванна. Куб из белого камня. И белый же кувшин с серебряным носиком. Знакомый... где-то Илья видел такие. Вспомнить бы. Позже, когда голова отойдет.

– Но здесь все равно чего-то не хватает. Слишком... слишком все белое.

Саломея двинулась по периметру. Она перемещалась на четвереньках, вглядываясь в пол, но то и дело поднималась на колени, выворачивала шею.

– У нее все яркое. Мебель. Ковры. Обои. А здесь – белым-бело и... и страшно. Как в больнице.

– Она часто болела.

– Как и ты. Тебе нравились больницы? – Она все-таки поднялась на ноги. – Только честно.

– Не особо.

– А ей, получается, нравились. Или просто мы чего-то не видим...

Саломея провела пальцами по стене, и стена ответила на прикосновение скрипом.

– Она ведь писала картины, верно? Ты не говорил, но я кое-что нашла. Она писала картины и выставлялась. Дважды. И оба раза неудачно... она расстроилась. Я бы расстроилась на ее месте. И картины... я бы не смогла расстаться со своими работами. А она смогла? Нет. Я думаю, что она спрятала их в этой комнате. И куда они подевались?

Илья знал точный ответ:

– Вера их сожгла.

Картины вывозили из дома тайно, ночью, укутав в постельное белье, как будто бы стыдясь их или себя, того, что предстояло сделать. Вывозили на пустырь и там уже сваливали на облысевшую землю, ломали, выдирая из рам. Ошметки холстов падали разноцветными бабочками.

– Может, не надо? – слабо спрашивала Полина, жалкая, растерянная и податливая.

– Не надо, Верочка, – вторил Полине Андрюша.

А Лера молчала. Ей было жаль и дорогих рам, и холстов, и красок. Денег-то на это все потрачено изрядно. И теперь вот жечь? Зарисовала бы белым и там, глядишь, по второму разу можно было бы использовать. Или вот отмыть, растворителем. Лера бы отмыла, попроси

ее Вера. Но просьбы не последовало, а Вера, вдруг обезумев, ломала, кромсала, рвала. И разорвав последнее полотно, вдруг обессилела.

– 3-зажигайте. – Она оперлась на машину и воткнула каблуки в землю, пытаясь удержаться на ногах.

– Твоему отцу это не понравится, – покачала головой Полина.

– Хватит уже! Хватит смотреть, что нравится ему! Я тоже... тоже имею право...

Она заплакала, как обычно неумело, стесняясь этих слез. Ее веки тотчас набрякли, а глаза побелели, и само лицо стало одутловатым, некрасивым.

– Ну... теперь уже все равно... если тебе станет легче.

Андрюшка попытался было обнять жену, но та вывернулась, оттолкнула его со странной злостью и повторила:

– Поджигай!

Из багажника достали пластиковую бутылку с бензином. Поливали деловито, и Лера следила за тем, как бензин – еще одна зряшная трата – скатывается с промасленных клочков картин. Потом щелкнула зажигалка, и рыжий огонек переполз на фитиль из простыни.

А белье-то было новехоньким, хранящим запах упаковки.

Картины вспыхнули сразу, резко, с хлопком, который ударил по Вериным нервам. Она вдруг вздрогнула, закричала во весь голос и кинулась к костру.

– Стой, дура! – Андрей выронил зажигалку и схватил Веру.

Держал крепко, прижимал к себе, пытаясь от натуги и раздражения: у него на этот вечер были иные планы. А теперь приходится возиться с безумной избалованной девчонкой.

– Отпусти! – Она выла и выворачивалась, то садилась на землю, заставляя Андрея нагибаться, то отталкивалась от земли, выпрямлялась, и тогда он повисал на Вере.

Костер дымил черным, жирным, и ветер бросал горсти этого дыма на Андрея. Теперь пропитаются этой вонью и пальто новое, кашемировое, и шарф, и волосы, и даже машина.

А этой дуре плевать. Сама не знает, чего хочет. Бесится с жиру.

– От... отпусти, – сказала Вера, обмякнув, но Андрей не послушал. Он оттянул ее – теплый мешок с костями и требухой – к машине и втолкнул в салон.

– Верочка, может, тебе успокоительного налить? Как ты себя чувствуешь?

Никак, она сидела, позволяя Полине щупать лоб, мять щеки и руки, раздвигать губы, всовывая меж ними горлышко фляги.

А костер догорал. Зола – вот и все, что осталось от картин, и обугленными костями виднелись в ней рамы.

– Герман Васильевич ругаться станет, – Лера обращалась ко всем сразу и ни к кому по отдельности. – Он ведь платил за все.

– Ненавижу. – Оттолкнув Полину, Вера встала. – Ненавижу его!

Она вывалилась наружу и кинулась к догоревшему костру. Она топтала его, растирая и пепел, и обглоданное огнем дерево, марая замшевые сапожки.

Андрей думал о том, что он больше не выдержит рядом с ней. А Полина спокойно, отрешенно даже, наблюдала за истерикой. И только Лера тянула руки, пытаясь поймать широкие Верины рукава.

– Прекрати. Прекрати, – лепетала она.

Странное дело, но Вера услышала этот голос и остановилась. Она тяжело дышала. Ее лицо было красно, налито гневом, а из носа шла кровь.

– Дай вытру, – Лера вытащила из кармана тряпочку и прижала к носу. – Домой пойдем? Или погуляем? Пошли погуляем. Гулять полезно. И не переживай, Вер. Новые нарисуешь...

– Нет.

Тряпочку она вырвала и, скомкав, практически затолкала в ноздрю.

– Не следует говорить о картинах. Ее это беспокоит. Нельзя беспокоить Веру...

– Полька, я еще здесь. Я слышу. Не говори обо мне так, как будто меня нет! Я есть!

– Конечно, есть, милая...

– И ты не притворяйся, Андрюшка. Ты меня не любишь... никто меня не любит! Уходите!

Она бросилась прочь. Вера бежала с пустыря огромными скачками, нелепо покачиваясь на каблуках, но не падая. Вера то и дело оглядывалась, проверяя, не бегут ли за ней.

Все стояли.

– Далеко не уйдет, – сказала Полина и протянула руку: – Дай закурить.

Андрей вложил в ладонь сигарету, а вот зажигалку пришлось искать. Нашла Лера, долго, внимательно разглядывала, и в какой-то миг Андрею почудилось – не отдаст.

– Надо сходить за... этой, – Полина курила медленно, наслаждаясь каждой затяжкой. И ароматный дым сигареты отчасти перебивал вонь костра. – Еще ногу подвернет... или поцарапается.

Или потеряется. Встретит кого-нибудь. Просто придумает себе приключение, и собственная фантазия спровоцирует истерику. Андрюшке порой хотелось залепить женушке пощечину. Хорошую отрезвляющую пощечину, которая разрушила бы нервный ее мирок.

Нельзя. Герман костями ляжет, но сохранит для дочери потемкинскую деревню ее жизни. Противно. И с каждым днем все противнее. Потому и курит Полина, ветеран затянувшейся пьесы. Потому и бродит неприкаянная Лера вокруг костра, потому сам Андрюшка переминается с ноги на ногу, не спешит бежать вслед за женой.

Куда она денется?

– А я ему говорила, что не следует давить, – Полина уронила окурки и наступила, растерла с наслаждением, как будто представляла на месте окурка кого-то другого. Кого? – Но разве он слушал? Разве он вообще способен слушать?

– Он хотел как лучше, – попыталась оправдать хозяина Лера.

– Для кого лучше? Ей и так неплохо. А выставка... слава... это ему надо, а не Верке. Ладно, пошли.

Она двинулась по следу, опытная гончая, точно знающая, что жертве от нее не уйти.

– Почему она такая злая? – Лера спрашивала шепотом, но Полина все равно слышала:

– Потому что задолбал этот спектакль. Господи, разве он закончится когда-нибудь?

До финальной сцены оставалось три месяца.

Глава 7

Удар судьбы

Мадам Алоиза позвонила в дверь в десять часов десять минут. Ровно на десять минут позже назначенного времени. Вообще-то она пришла вовремя и даже раньше, но, увидев серую башню дома, мадам Алоиза остановилась. Это место выглядело зловещим, а дело – тухлым. И сама мадам Алоиза в жизни не взялась бы за него. Но ведь взялась же. Аванс получила.

Отрабатывать надо, и, подняв воротник норковой шубы, мадам Алоиза шагнула под козырек подъезда. В конце концов, она не настолько глупа, чтобы поддаваться панике.

Мадам Алоизу ждали. Дверь открыла бледная девушка неопределенного возраста. Глубокие тени под глазами делали ее старше, а стянутые в пук волосы и широченные клетчатые брюки, напротив, приносили в облик подростковые черты.

– Меня ждут. – Мадам Алоиза с неудовольствием отметила сиплоту в голосе. Неужели простуда?

Девушка кивнула и помогла выпутаться из мехов.

– Там, – указала она в коридор. – Ждут. В зале. Я провожу.

Норке нашлось место в гардеробной.

– Как вас звать, милое дитя?

– Лера, – буркнула девица и скукожилась.

Взгляд у нее был растерянный и злой. Странное место. Может, все-таки уйти следовало бы?

– Это имя тела... а вот душа ваша...

Пятерня коснулась холодного покрытого испариной лба.

– Душа ваша носит имя...

– Вас ждут, – девица ударила по руке и вывернулась. – Идемте. Герман Васильевич не любит ждать.

О да, этот мужчина производил впечатление человека, не склонного сдерживать душевные порывы. И сколь часто его недовольство выплескивалось на эту светлую голову?

Алоизе не хватало информации. Заказчик был скуп. Сказал, что если она – профессионал, то справится. И возместил неудобства деньгами. Аванса хватило, чтобы рассчитаться за шубу, а если сегодня все пройдет нормально – конечно же, нормально, иначе и быть не может! – мадам Алоиза позволит себе отдохнуть.

Турция? Египет? Греция? Или яркий Таиланд?

– Скажите, – Лера обернулась и уставилась круглыми кукольными глазенками, – а вы и вправду видите... ну видите...

– Будущее? – Нынешняя улыбка мадам Алоизы была мягка. – Нет, дитя. Будущее нельзя увидеть. Оно состоит из тысячи решений и ста тысяч случайностей. А те, кто утверждает, будто бы способен предсказать, – лжецы.

– А прошлое?

– Прошлое я вижу.

Кажется, этот ответ пришелся весьма не по вкусу Лере.

– Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной... – бормотание Ильи действовало на нервы. И Саломея кусала губы, не позволяя себе оборвать эту заевшую считалочку.

Он ведь нарочно. Мстит? Дразнит? Или, доводя до кипения, передвигает Саломею-пешку из клетки в клетку, выравнивая ее с иными фигурами, которых полна комната.

Сумасшествие.

Сожженные картины, о которых никто не желает разговаривать. Мрачный Гречков, чья гримаса выражает и недоверие, и в то же время надежду. На что он надеется? На кого?

Его супруга спокойна, ледяная принцесса, занявшая чужой трон. Но подергивание века выдает, что сидеть на этом троне неудобно.

Лера, примерившая роль служанки. И это не примерка – Лера подняла однажды обретенную маску.

Андрюша. Шут.

Шуты – сложные фигуры. Они мешают правду с ложью, делая одно неотделимым от другого.

Кирилл Васильевич и его дурно пахнущая жена. Два неразлучника на одной ветке. Держатся друг друга? Или держат друг друга?

– ...а ты кто такой...

Саломея все-таки оборачивается. На губах Далматова шальная улыбка, он сейчас похож на безумца или скорее – блаженного, которого озарением придавило.

– Илья, прекрати, пожалуйста, – прошипела Саломея.

– Любишь цирковые номера? – наклонившись к самому уху, спросил он. – Клоуны уже на сцене.

Женщина, появившаяся в комнате, была inferнальна. Высокого роста, цыганской смуглоты, она куталась в скользкие шелка и яркий атлас. В ушах ее пылали рубины, а на руках звенели десятки браслетов.

– Я чувствую... – женщина воздела дрожащую руку. – Я чувствую...

Ее веки сомкнулись, а когда открылись вновь, то оказалось, что глаз у женщины больше нет.

– Как тебе фокус? – Илья подвинулся поближе и оперся локтем на Саломеино плечо. – Старенький, но эффективный. Главное, научиться управлять глазными мышцами.

Ропот стих. А гадалка, упершись собранными в щепоть пальцами в напудренный лоб, застонала.

– Здесь было совершено преступление... преступление... вода течет. Течет вода.

Она вдруг дернулась, изогнувшись всем телом налево, сделавшись похожей на искореженное ветрами дерево. И руки-ветви потянулись к людям.

– Вода течет, вода несет... вода знает правду...

– Прекратите! – взвизгнул Андрюшка, пятась. – Я тоже так умею! О! Вода течет! Ветер дует! Земля лежит! Я чую, чую...

– И-извините, – гадалка выпрямлялась медленно, как если бы тело ее еще не принадлежало ей. И длинные руки обвисли, а голова упала на грудь. – Здесь... здесь очень темная аура. Мне надо присесть... надо отдохнуть.

Она рухнула в кресло и застыла. Поднесли воды, от которой гадалка отказалась нервным жестом.

– Мне нужен столик. Вот тот подойдет... свечи... в моей сумке. Будьте столь любезны...

Саломея хотела предупредить, что спиритическим сеансам веры нет, но жесткая ладонь сдвинула плечо.

– Не торопись. Посмотрим.

– На что?

Гадалки лгут. Они играют на надеждах и безнадёжности, собирая мозаику из фактов и дополняя ее собственными домыслами. Они учатся угадывать по глазам, по губам, по нервным скрытым жестам о чаяниях клиентов и облачают догадки в слова.

– На них. Они нервничают.

Полина кусает губы. Ее пальцы прижаты к щекам, а щеки белы, и пальцы белы. По лбу же скользит капля пота, которая вот-вот достигнет переносицы.

Кирилл Васильевич прижался к супруге, и та, обняв, шепчет ему что-то не то успокаивающее, не то наставительное.

Лера забила в угол и оттуда следит за всеми и сразу. Взгляд ее мечется, но не задерживается ни на ком. В нем столько злости, что Саломее становится страшно.

Андрюша держит улыбку, как удар. Но происходящее ему не по вкусу, и это заметно, не внешне, но чутьем, которое вдруг очнулось и кричит, что вот-вот случится ужасное.

Меж тем на середину комнаты вытянули столик из красного дерева, инкрустированный сандалом и слоновой костью. Мадам Алоиза – даже имя в этой женщине было фальшиво – расставляла на столике свечи всех цветов и размеров, а между ними воздвигла друзу хрустала.

– А карты будут? – ернически поинтересовался Андрюша и, повернувшись к Саломее, подмигнул: мол, мы-то с тобой понимаем, что все это чушь и притворство.

– Карты не нужны.

Другие камни, не драгоценные – да и камни ли вообще? – занимали отведенные замыслом гадалки места.

– Необходимо уравновесить волновую структуру, – пояснила вдруг супруга Кирилла Васильевича.

– Именно! Приятно видеть понимающего человека.

И тут Саломея заметила, что руки гадалки дрожат. Она очень уж долго возится, слишком долго, рискуя нарушить очарование момента.

– Каждый камень излучает на своей волне. – Почувствовав поддержку, Милослава воспрянула духом. – И только энергетически просветленный человек способен ощущать эти волны! Они пронизывают пространство и время...

Зеленый. Желтый. Синий. Ярко-красный. Рубин? В лучшем случае шпат. Белесый осколок лунного камня и черный кус агата. Круг почти сомкнулся, а дрожь усилилась.

– Что с тобой? – Илья отпустил плечо, но взял руку, сжал. – Ты дрожишь?

– Здесь холодно, – солгала Саломея и поежилась, закрепляя ложь.

Далматов снял пиджак и набросил на плечи. Пиджак был теплым, но дрожь не прошла. У Саломеи тряслись руки и ноги, зубы щелкали друг о друга, и мурашки бежали по шее.

Зима идет. Зиме дорогу. Черная ночь лежит за окном. Чернота проглотила звезды и ослабевшую луну. Она выпустила седых змей и приоткрыла врата, за которыми спит заперделье. Сейчас оно просыпалось.

– Это же просто цирк, – Илья обнял, прижал к себе, как будто имел полное право на подобную фамильярность. Играет в заботу? Плевать. Саломее страшно.

– Надо остановить ее...

– Просто цирк. Все хорошо, Лисенок. Все хорошо.

Он лжет. Всегда лжет. И эта женщина, в руках которой старинная бензиновая зажигалка. Сухо щелкает кремь. Огонек рождается недоношенным, слабым. Он трепещет и перепрыгивает на подпаленные фитили свечей с неохотой. Но, обжившись, разгорается.

Чадно. Душно. Холодно и душно. Руки Ильи – стальные обручи, из которых не вырваться.

– Сиди. Молчи, – приказывает он, и в голосе больше нет притворной заботы.

Мадам Алоиза командует парадом. Ей удалось переступить через собственный страх, и она гордится этим. Машет руками. Шелковые рукава тревожат воздух, и пламя кланяется хозяйке.

– Выключите свет. Подойдите. Все подойдите...

– Опасно, – слово слетает с губ Саломеи. – Далматов, ты... ты разве не слышишь?

Он не хочет слышать. Лампы гаснут, и комната наполняется дрожащим светом, в котором так удобно прятать выражения лиц. Из сумки мадам Алоизы появляется деревянная чаша, украшенная бессмысленными символами, и нож с волнистым длинным лезвием.

– Все подойдите!

– Идем, – Далматов поднимает Саломею силой. Он, оказывается, очень сильный, и это открытие неприятно. – Лисенок, не глупи. Ты же взрослая девочка. Возьми себя в руки.

Он прав. Уже не остановить. Запределье заглядывало в комнату вместе с тенями, с тонким жасминовым ароматом духов, со сквозняком, который трогает шелка гадалки, обходя пламя стороной.

Рука Саломеи в ловушке. Ей не позволят сбежать, но позволят участвовать в этом спектакле.

– Возьмитесь за руки! – Гадалка вдруг срывается на шепот. – Крепко держите.

Держат. Вторая ладонь мокра от пота. Чья она? Андрюша. Улыбается, прижимается боком, дразня Далматова. А тот смотрит на гадалку, на камни и чашу, на чертов нож, который выглядит слишком уж острым для реквизита.

Запределье улыбается.

Рядом с чашей становится треножник из меди, с чашей, полной углей.

– Да она дом сожжет к чертовой матери! – Андрюшино возмущение не находит поддержки. Люди смотрят на чашу, на угли, на узкие женские ладони, которые медленно наливаются багрянцем. Мадам Алоиза выгибается.

– Призываю тебя, о дух Веры Германовны Гречковой-Истоминой, силою Бога Всемогущего, и повелеваю тебе именами Бараламенсиса, Балдахуенсиса, Павмахия, Апелороседеса и могущественнейших князей Генио и Лиахида, служителей Трона Тартара и Верховных Князей Трона Апологии девятой сферы. Призываю тебя и повелеваю тебе, о дух Веры, именем Того, Кто произнес Слово и сделал это Священнейшими и Славнейшими Именами Адонаи...

– Господи, какая чушь... – Но Андрюша произносит это очень тихо. Он очарован, как и остальные.

Мадам Алоиза вынимает из-под стола белую полотняную тиару, расшитую Соломоновыми гексаграммами.

– Эль, Элохим, Саваоф, Эилон... Явись передо мною и без промедления покажись мне, здесь, за чертою этого круга...

Нож в руке касается оголенного запястья, испаривает кожу и выпускает кровь. Она выглядит черной и густой, как битум. Струйки скользят по ладони, по пальцам и падают в чашу.

– Явись в сей же миг, в зримом и приятном облике, и соверши все, что пожелаю я, воззвав к тебе от Имени Вечносущего и Истинного Бога, Гелиорема. Призываю тебя также истинным именем твоего Бога, коему ты обязан повиноваться, и именем Князя, властвующего над тобою. Явись, исполни мои желания и до конца поступай в согласии с волей моею.

Запределье хохотало. Над нелепым обрядом, в котором смешались обрывки иных, настоящих и куда как более страшных. Над женщиной, решившей, будто ей дано открывать врата между мирами. Над людьми, ожидающими чуда.

– Надо остановить...

Илья сжал руку. Больно же! И хорошо. Боль отрезвляет. И запределье откатывается. Оно – море, что шлет волну за волной штурмовать скалистый берег.

– Призываю тебя именем Того, кому повинуются все живые твари, Неизреченным Именем Тетраграмматон Иегова, Именем Коего повергаются в ничто все стихии. Явись во имя Адонаи Саваофа, явись и не медли. Адонаи Садай, Царь Царей, повелевает тебе!

Крик взвился к потолку, и темнота отшатнулась. Крови в чаше набралось изрядно, и мадам Алоиза перехватила порез пластырем. Кровью она рисовала, прямо на поверхности стола и не кистью, а пальцем.

Да. Нет.

Железный круг с коваными буквами псевдостаринного стиля. На этом колесе нашлось место для ять и ер. А на руке мадам Алоизы повисла цепочка с пентаграммой.

– Ты здесь? – спросила гадалка громким сиплым голосом.

Свечи мигнули, а цепочка шевельнулась, отклонившись к кровавому «да».

– Ты – Вера? Вера Германовна Гречкова-Истомина?

Очередное «да» и нервный смешок от Андрюши.

Пентаграмма пляшет, выводит круги, закладывает петли, и в этой пляске видится чужая воля. Саломея смотрит, но не на пентаграмму – на руку Алоизы. Та выглядит неподвижной.

– Вера... скажи, пожалуйста, ты сама умерла?

– Нет.

– Тебя убили?

Тишина. Люди перестали дышать. Люди ждут ответа, готовые поверить ему. И пентаграмма медленно наклоняется, роняя тень на стол. Тень подползает к буквам и накрывает их.

– Да.

– Это же хрень какая-то! – Скользящая Андрюшкина ладонь отпускает Саломею. – Герман...

– Закройся! – это не крик, но рев взбешенного быка.

– Имя... скажи нам имя... назови своего убийцу.

Пентаграмма пляшет.

– Хватит!

Андрюшка бросается к столу, одним движением сбивает свечи и жаровню. Крупный уголь сыплется на ковер. Воняет горелым. Раздается визг и крик. Пляшут тени, давят остатки света.

– Прекратите!

Но короля, утратившего власть над подданными, не слышат. Свечи гаснут. Звенят камни. На миг воцаряется темнота, наполненная дыханием, сипом, хрипом и какой-то возней. Саломею выдергивают из круга. Она слышит, как матерится Далматов.

Пахнет кровью. Запределье корчится в истерике. Его голос – перезвон серебряных колокольчиков. Саломея затыкает уши. И зажмуривается, упреждая вспышку света.

– Довольно! – Голос Далматова подобен хлысту. И люди успокаиваются.

Саломея открывает глаза. Она видит грязь и опрокинутые свечи. Камни. Угли. Измазанный черным ковер. Чашу, содержимое которой расплескалось по столу... слишком много этого содержимого.

– О господи, – вздыхает Полина, прежде чем сползти на пол. – О господи...

Ее не слышат. Все смотрят на мадам Алоизу. Она лежит на столике, раскинув руки, как будто бы собой закрывая такой важный кованый круг с ятями, ерами и буквами. И бледные руки свисают с краев.

– О господи...

Далматов склоняется над телом и всовывает пальцы куда-то между плечом и шеей. Потом приподнимает тело и переворачивает. Длинная шея гадалки обвисает под тяжестью головы, раскрывая широкий зев раны.

– Полицию вызывайте, – Илья мрачен. А на руках его кровь. И этой окровавленной ладонью он закрывает распахнутые удивленные глаза мадам Алоизы. – Вызывайте полицию...

Глава 8

Частные вопросы

Приехали быстро. Работали тихо, слаженно.

Домашние наблюдали. Саломее казалось, что их всех вот-вот выставят, и это было бы логично, но фигура Гречкова, видимо, вызывала у полицейских некоторые опасения. Скорее всего, Гречков знал и мэра, и губернатора, и многих иных, со звучными именами и должностями, но в данный момент времени он был не просто растерян – раздавлен случившимся.

Крупное лицо его застыло, как застывает лава на теле вулкана, и лишь руки оставались в движении. Пальцы расходились и смыкались, трогали, гладили друг друга, изредка касаясь побуревших манжет, рукавов или пуговиц, тоже липких, как и все остальное.

– Это не я... это не я... – лепетал Андрюша, вцепившись в подлокотники кресла. Вот он был залит кровью, и брызги на лице застывали, словно веснушки. Андрей не спешил умываться, он потерялся в этой комнате, как и все прочие. И кресло, мягкое кресло с широкими подлокотниками, казалось ему единственной надежной вещью, расстаться с которой было никак невозможно.

Полина молчала. Лера бродила по кромочке у стены, не смея сделать шаг к центру.

Шептались супруги Гречковы.

Щелкали фотоаппараты, вспышки ослепляли, картины мира реального обретали плоть в разноцветных пикселях. Человек в синем плаще, больше похожем на лабораторный халат, наблюдал за всеми и сразу. Он первым нарушил молчание:

– Герман Васильевич, нам необходимо побеседовать...

Увели. Гречкову пришлось помогать, потому как выяснилось, что самостоятельно идти он не в силах. И Полина очнулась, запорхала над мужем, норовя окружить липкой заботой. Давление... капли... нельзя волноваться... врача вызовите.

Алоизе – Аллой ее звали – врач не поможет. Илья сказал, что шансов у нее не было – обе артерии вскрыты – но это ложь, чтобы успокоить всех. Шанс был. Если бы Саломея остановила представление.

Следующей вызывали Полину. Эта шла сама, с гордо поднятой головой, всем видом своим демонстрируя презрение. Но кого именно она презирала?

– Слушай сюда, Лисенок, – Илья встал за спиной и отвернулся, словно бы говорил и не с Саломеей. – Дело дрянь, пусть мы к нему и боком. Но чтобы противоречий не было... ты же помнишь?

– Что?

– Что ты моя невеста. Если спросят. А они спросят...

Позвали Леру.

– А я? Вы думаете, что это я виноват? – Андрюша вскочил и вытянул руки. – Кровь! Вот кровь! Смотрите! Но я не виновен!

– Сядьте, пожалуйста, – попросили его, и Андрюша сел, сжался, обнял себя и заплакал.

– Я не хочу врать полиции, – прошептала Саломея.

– Тебе и не придется. Мы ведь действительно обручены, – он потянул шеей влево, потом вправо. Шея хрустнула. – Или ты не чтить родительскую волю. А, Лисенок?

Андрюшка ушел следующим. В последний миг он вдруг успокоился и шел почти прямо, ровно, лишь руки отчетливо дрожали.

– Как это все ужасно! – громко сказала Милослава и, прижав мизинцы к бровям, добавила: – В этом доме черная аура! В этом доме живет смерть!

– Милочка, не сейчас.

Кирилл Васильевич, пребывая в волнении, грыз ногти.

– Не время? Сейчас? Да посмотри! На кровь посмотри, которая здесь пролилась! Разве это не знак? Разве не говорит нам Мироздание – остановитесь?!

– Какие крепкие нервы, – шепнул Илья на ухо. – Так речь держать... обороты находить... и вспомни, она стояла за мадам Алоизой.

– Она чиста. Ну чище остальных.

– И еще придется сделать, чтобы вы задумались над тем, что творите?

– Когда режут горло, кровь идет вперед и в стороны. А вот стоящий сзади останется чистым. Есть еще нюанс. Она одна верила, что эта... ясновидящая и вправду что-то видит.

– Или делала вид, что верит, – возразила Саломея.

Милослава потрясала кулачками, беленькими, мягонькими. Вот она, эта нелепая женщина, убийца?

Средний рост. Средний вес. Темные волосы с сединой. Бледная дрябловатая кожа. Редкие ресницы, несмотря на касторовое масло и огуречные примочки. Наряд из плотного льна. На запястьях – циркониевые браслеты.

– Ей тяжело было бы добраться до ножа, – Саломея закрыла глаза, восстанавливая в памяти хоровод. Вот она сама. Слева – Далматов, справа – Андрюшка. За ним кто? Герман Васильевич. Его брат. Милослава. Полина. И Лера. Далматов прав. Милослава стояла за Алоизой. А столик с чашей и ножом – перед. Алиби ли это? Вряд ли.

– Лисенок, не лезь в это дело. – Холодные пальцы Ильи скользнули по шее. – Пусть полиция разбирается. У нас другой интерес.

Увели Кирилла Васильевича. А Милослава, не в силах вынести внезапное одиночество, бросилась к Саломее:

– Вы же слышите! Вы-то слышите... Звезды предупреждали меня... я составляла гороскоп. Знаете, это не так просто, как кажется. – Она глянула на Далматова с опаской и брезгливостью и, наклонившись к самому уху Саломеи, прошептала: – Этот человек вам не подходит. Послушайте меня. Он мертв.

Далматов сделал вид, что не слышит.

– Звезды предупреждали. Меркурий был так ярко. Сатурн в Стрельце, напротив, ослаб...

Пальчики белые, с аккуратными ноготками. Нет под ними ни крови, ни кожи, ни иных улик материального плана. А Милослава вновь подалась вперед, прилипая губами к уху.

– Я знаю, кто это сделал, – выдохнула она. – Я знаю... но никто мне не поверит.

– Я поверю, – также шепотом ответила Саломея, а Далматов отступил, предоставляя иллюзию уединенности.

– Герман, – Милослава не колебалась ни секунды. – Это Герман.

– Но зачем?

– Он избавился от дочери. И не желал, чтобы кто-то узнал об этом... Вот видите, – вскочив, Милослава схватилась за горло. – Вы не верите! Никто не верит!

Весьма своевременно появился полицейский. И Саломея осталась наедине с Далматовым. Оба молчали. И он не выдержал первым:

– Значит, это правда? Ты слышишь... запределье, – Илья снял очки и принялся тереть их о рукав рубашки. На рукаве, от манжет, тянулись кровавые пятна, уже подсохшие, неприятного бурого цвета. – Я думал, что это образное выражение. Но тебя знобило по-настоящему. На что это похоже?

– По-разному. Иногда – холодно, но бывает, что и жарко. И звуки странные. Или тени.

Пляска на стене, спектакль для одного зрителя. Запределье – это ласковое касание крыла бабочки. И жесткий удар на границе сна и яви, который парализует тело, оставляя лишь способность дышать. Безотчетный страх, когда бегство видится единственным спасе-

нием, но сил бежать нет. Или веселье из ниоткуда, счастье всеобъемлющее, опасное, ведь оно уходит, оставляя душу опустошенной.

– Мне жаль, что я тебя не послушал. Извини.

Сказано сухо, вежливо, но и на том спасибо. Случившегося не изменить. Но полицейский не дал озвучить мысль, он ткнул пальцем в Саломею, а затем на дверь, куда ушли все, но никто не вышел.

– Эй, – Далматов удержал руку. – Что бы ни случилось – не дергайся. Жди, и все будет хорошо.

Что должно было случиться?

Допрос был быстрым, поверхностным. Вопросы – стандартными. И Саломее виделось, будто бы все решено, а ее показания нужны сугубо для отчетности.

Саломея говорила, а человек в синем плаще писал, старательно, прижав голову к плечу и приоткрыв рот. Дописав, он отложил ручку и лист, вытер руки о вафельное полотенце и вытащил из коробки пакет.

– Узнаете? – спросил он и передал пакет Саломее.

Бритва. У отца была похожая, складная, с расписными накладками на рукояти и тончайшим лезвием из хирургической стали. Лезвие это было острее самурайского меча, во всяком случае, мамин шелковый шарф, пойманный на лету, распался на две части. И мама обозвала отца позером, а он только засмеялся и пообещал купить ей еще шарфов...

– Так вы узнаете?

Крови на отцовской бритве не было. А здесь – была. Она прилипла к краям пакета и расползлась, забила в заломы.

– Нет, – Саломея вернула бритву.

Выходит, что нож с волнистым лезвием ни при чем. Он – декорация.

Но к чему вопрос? Он не пустой, и ухмылка человека, неприятная, злая, подтверждает догадку.

– Странное дело. Не узнать бритву собственного жениха... как же так?

Жениха? У Саломеи... стоп. Далматов. Это далматовская бритва? Быть того не может! Или может. Но не Илья же убил! Ему-то зачем? А что Саломея вообще про Далматова знает? Появился. Врал. И снова врал. Манипулировал. И теперь вот убил, используя Саломею как прикрытие?

Ерунда. Из нее на редкость дрянное прикрытие, ведь стоит Саломее рот раскрыть... А она раскроет? И закроет. Как рыба, выброшенная на берег.

– А вы узнаете станок вашей супруги? – поинтересовалась Саломея, сдерживая гнев.

– Ну, она не пользуется такой... любопытной вещью. Приметная, правда? И удобная. А не скажете, где и когда вы познакомились?

– В ресторане «Астория». Около пятнадцати лет тому. И еще. Он не убивал. Он держал меня за руку. Все время.

– Уверены?

– Абсолютно, – Саломея сжала кулаки. – Когда погас свет, он вытянул меня из круга. От стола, а не к столу.

Бритва. Пакет. Думай, Саломея, думай. Они ведь готовы повесить труп на чужака, лишь бы не задевать нежных чувств Германа Васильевича. Чужак – безопаснее. Остальные – из семьи.

– Он... или она... убийца то есть. Заранее готовился. Если взял бритву, то заранее. Значит, он украл. Это же просто – зайти в комнату. Комнаты не запираются. Лера заглядывала к нам. Полотенца приносила. Полина. Звала на чай. И на ужин. А за ужином все выходили. Зайти в комнату и вытащить бритву – это же минута. Ну две.

– Спасибо, женщина, – человек в синем плаще убрал улику. – Вы можете быть свободны.

– Да тут скорее следует задуматься над тем, кто эту вот бритву опознал! Откуда они...

– Спасибо, говорю.

– Слушайте, вы...

– Свободны! – рявкнул полицейский и, потеряв щетинистую щеку, добавил: – Полиция разберется.

Они и вправду разобрались, пусть и разбирательство это длилось часа полтора, каждая минута из которых казалась Саломее вечностью. Дважды или трижды она хваталась за телефон, рылась в записной книжке, выискивая те самые нужные номера нужных людей, и останавливала себя.

Рано.

Разберется полиция, пусть этот мрачный человечек в синем плаще и не желал разбираться. Однако он ведь понимал, что Илья – не убийца.

И его отпустят.

Отпустили. Вымотали вопросами, обложили, что волка на охоте, а потом вдруг убрали барьер, сказав:

– Можете быть свободны. Мы с вами свяжемся.

Голова гудела. Не мигрень – колокола литые с львиными головами, гербами и тяжелыми языками, которые и рождают полифоничное гудение.

И руки в крови.

Вот что Далматов не любил, так это кровь. Ее запах, сам ее вид – черной венозной ли, алой ли артериальной – вызывал тошноту. Борьба же с нею отнимала силы.

Сейчас кровь засохла на коже, забилась под ногти и впиталась в трещины папиллярных линий. Придется выковыривать, стесывать пемзой, сдирая и слой слишком тонкой кожи.

– Свободны, – повторил полицейский. Во взгляде его читалась привычная уже смесь отвращения и брезгливости.

Людам не нравятся змеи. Инстинктивно. За этой нелюбовью прячется страх, доставшийся в наследство от предков-приматов, прописанный в генах и оттого кажущийся естественным. Плевать на приматов, кроме одного-единственного уродца, который испоганил такой замечательный в своей простоте план. Все осложнилось.

Измаралось.

Чертовой кровью и еще делом, сбросить которое теперь не выйдет. И Саломея волнуется.

Она стояла у книжных полок, разглядывая разноцветные корешки, выбирая и не умея выбрать. На звук Саломея обернулась всем телом.

– Тебя совсем отпустили? – спросила она, вдруг потупившись.

А раньше всегда в глаза смотрела, и это обстоятельство Далматова злило, потому что он-то не умел смотреть в глаза, и выходило, что всегда первым взгляд отводил, ломался. Проигрывал.

– Совсем.

– Они сказали, что...

– Все нормально.

– Тебя в убийстве обвиняют.

– Уже нет. – Он потрогал шею и пожаловался: – Затекала. Улики косвенные. И они это понимают. Рисковать не станут... не станут рисковать. Так что... все хорошо. Хорошо все. Черт!

Колокола замолкли на долю секунды и ударили набатом, оглушая, выплескивая скопившийся адреналин.

– Уйди.

– Куда? – Саломея растерялась.

Ну почему никогда не бывает так, чтобы без вопросов, чтобы просто послушать. Далматов держал себя.

Нить истончалась. Бесновались колокола.

– Плевать...

Под руку попался пластиковый стул. Легкий. Невесомый почти. Он перелетел через комнату и рухнул с грохотом.

– Убирайся, черт бы тебя...

– Илья, – она не убежала. Все убегали, а эта осталась. Схватила за руки, сжала – когда и как она оказалась так близко? – и попросила: – Ты дыши глубоко. Все пройдет. Уже проходит.

Не проходит. Само – никогда. Слишком много дерьма вокруг. Злости. Если не выплеснуть – Илья лопнет. Отец трещал по швам. Орал. Постоянно орал. Бил тарелки. Белые фарфоровые. Легкие. Летали от стены до стены. В стену ударялись, звенели, взрывались осколочными минами. Задело как-то... давно. Крови хватило. Всегда кровь. Илья кровь ненавидит. Она скользкая. Горячая.

– Ты дыши, ладно? Сейчас отпустит.

Руки у Саломеи тоже горячие. И держат крепко. Ей так кажется. На самом деле Саломея слаба. И страгнуть руки – раз плюнуть. А сломать еще легче. Две кости – лучевая и локтевая. Одна – толще, вторая – тоньше. Если правильно приложить силу, хрустнут обе.

– Лучше уйди. – Он просил.

Далматов никогда никого не просит. И руку ломал. Однажды. Кому? Рыжая, но другая. Крашенная. Далматов ей платил. Он всегда платит, потому что так – проще.

Он предупреждает. Рыжая не послушала. Думала, она-то справится. Умнее прочих. А в результате – перелом руки. И по физии схлопотала. Сказала, что Илья – сумасшедший.

– Я не сумасшедший.

– Конечно, нет.

– Дерьмово все. Так дерьмово, что... Гречков захочет замять дело. Испугался, старый хрен. Раньше надо было бояться... сердце у него.

У всех сердце. Мышечный орган. Два желудочка. Два предсердия. Набор клапанов. Проводящие пучки. Миокард обладает свойствами поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, что обеспечивает... что-то обеспечивает. Колокола мешают думать. Сердце не имеет отношения к эмоциям. Эмоции возникают в голове. Биохимическая палитра чувств на мембранах нейронов.

– Эй, посмотри на меня. Слышишь?

Как ее услышишь, когда колокола гудят. Но тише... и еще тише. Отлив.

Илья бывал на море, Балтийском, мрачном. Запах йода и рыбы. Камни. Берег уходит под воду, ниже и ниже. И уже вода карабкается по берегу, норovia дотянуться до ног Далматова.

Он держится.

Смотрит.

Мать стоит рядом. Ее море не пугает. Ее ничто не пугает.

Кричат чайки. Из-за линии горизонта показывается парус, слишком белый и нарядный для сумрачного дня. И мать, оскорбленная подобным диссонансом, уходит. Илье позволено остаться. Ненадолго, но этого времени довольно, чтобы он сочинил историю про море, парус и чаек.

Книга хороших воспоминаний закрывается.

А Далматов получает пощечину. Его никогда не били по лицу, во всяком случае, так, хлестко, не больно, но до странности обидно.

– Вернулся? – спросила Саломея и добавила: – Извини. Мне пришлось. Я решила, что ты вообще... уйдешь.

– Куда?

Далматов потрогал щеку – ноет.

– В заповедье.

Саломея не шутила. И глядела без осуждения, страха, но с такой искренней жалостью, что Далматову сделалось не по себе.

– Это наследственное. Темперамент. – Он все трогал и трогал чертову щеку, которая остывала, и потому колокола могли вернуться, хотя они никогда не возвращались сразу же. Да и вообще беспокоили не слишком часто.

– Ну да, темперамент. У папы такой же... был. Мама знала, как остановить. А с каждым годом оно чаще и чаще... ему нельзя было работать. А он работал. И твой работал. Ты вот тоже не остановишься. Пока шею не свернешь, не остановишься. Только если вдруг... если будешь сворачивать – то лучше собственную.

Это как посмотреть. Собственная шея Далматову была дорога.

Эпизод 1. Слезы смерти

Лондон. Ист-Энд, район Уайтчепел, август 1888 г.

В понедельник 6 августа 1888 г., около 3.20 пополудни, на небольшой площади Джорд-Ярд было найдено окровавленное женское тело. Приглашенный на место преступления судебный медик Тимоти Киллин подсчитывает, что погибшая получила в общей сложности 39 ударов ножом.

– Он использовал оружие двух типов, – Тимоти Киллин скатал шарики из воска, смешанного с розовой эссенцией, и заложил их в нос, но и это не избавит его от ужасной вони Уайтчепела. – Нечто с широким лезвием, но заостренным клинком... например, штык. И нож с очень узким и коротким клинком.

Толстая девица с испитым лицом причитала неподалеку. Она мешала думать и говорить, а заодно раздражала самим фактом своего существования.

Тимоти Киллин не любил заглядывать в места, подобные Уайтчепелу. Они заставляли думать о неприятном.

Инспектор Фредерик Джордж Абберлин махнул рукой: мол, продолжайте. Судя по виду, инспектору также не хотелось задерживаться здесь. Тем паче что тело увезли, а свидетели были допрошены полицией.

Как всегда, никто и ничего не видел.

– Он перерезал ей горло. Одним движением. Это весьма ловко... и грязно. А еще лишено смысла. Я имею в виду все последующие удары. Она бы все равно умерла. И думаю, что умерла.

– Местные банды, – сказал инспектор. – Работала одна. Кому-то не заплатила. Вот и наравлась.

Доктор Кирсен кивнул: у него не было желания спорить, тем паче с человеком, который знает полицейское дело куда лучше доктора.

– Она... мы... мы вместе были в таверне. – Толстая шлюха продолжала всхлипывать и тереть лицо руками. Она размазывала белила, пудру и угольную тушь, превращая лицо в уродливую маску.

– Когда?

– С-сегодня. Н-ночью. – Прекратив всхлипывать, шлюха стала заикаться. – М-мы солдат встретили. Н-ну и... п-пошли.

– Куда? – поинтересовался Абберлин все с тем же отрешенным видом.

Он стоял, опираясь на трость, чуть покачиваясь, но не падая.

– К... к мамаше Рови. У нее комнаты. М-марта рано закончила. Я слышала, как она... как он... ну все то есть. А мой-то крепкий попался. Она, н-наверное, пошла на старое место. Тут недалеко. И вот...

Ее звали Мартой. Это тело, которое теперь ничем не отличалось от иных тел, будь то человеческих или животных.

Собственные мысли испугали доктора, и он поспешил отойти. Тимоти Киллин мог бы уйти вовсе, но что-то продолжало удерживать его на месте. Он стоял, прикрыв нос и рот платком, вымоченным в дезинфицирующем растворе, и слушал сухой голос Абберлина, что клинивался между речью свидетелей.

Их оказалось всего двое: констебль, патрулировавший улицу и видевший Марту на этом самом месте в 2.30, да подруга, Мэри Энн Коннелли.

Она даст описание тех самых солдат, надеясь, что убийца будет пойман. Исполняя долг, инспектор Абберлин проверит всех солдат из гарнизона Тауэра. Но среди них не найдется никого, кто бы в ночь на 6 августа заглянул на улицы Уайтчепела.

На этом расследование остановится.

Сегодняшние газеты полны истерики. Наша пресса порой напоминает мне престарелую леди, жадную до слухов и сплетен. Она готова упасть в обморок, заслышав неприличное слово, и с наслаждением смаковать подробности какой-либо кровавой истории.

Я видел фотографии. И рисунки, в которых было больше безудержной фантазии штатного художника, нежели правды. Однако вынужден признать, что смотреть со стороны на дело рук своих неприятно.

И не устояв перед искушением, я выбрался на прогулку, якобы сопровождая моего пациента, чье поведение давным-давно перестало удивлять кого бы то ни было. Это так легко – несколько слов, несколько забытых газет, и вот он жаждет собственными глазами увидеть то самое место.

А ему не принято отказывать в желаниях.

Мы собираемся. В сером костюме он похож на любого другого лондонца – торговец средней руки или клерк. Шляпу он надвигает на самые брови, горбится, а руки засовывает под мышки, и эта нелепая поза привлекает внимание.

Внимания он боится.

По-моему, болезнь прогрессирует, и я пытаюсь сказать об этом. Но разве меня слушают? Нет, им всем удобнее делать вид, что ничего страшного не происходит. И кто я такой, чтобы спорить?

Мы идем. Я держусь рядом, но чуть в стороне – он не любит назойливых опекунов.

– Долго еще? Долго? – Он сам обращается ко мне с вопросом, и я отвечаю:

– Нет.

В нем больше от деда, чем от матери или отца. Этот вяловатый подбородок, эти мягкие черты лица, как если бы само лицо лепили из сдобного теста. И главное, что отсутствует тот внутренний стержень, который делает его бабку особенной женщиной.

Я-то знаю, что дело в стержне, а не в короне. Без него корону не удержать, а у нее получается.

Он позволяет взять себя под руку.

– Спокойно, мой друг, – я нарочно обращаюсь к нему не по имени, звук которого ему неприятен. – Мы уже почти на месте. Удивительно, не правда ли? Обратите внимание на храм. Он был построен еще в...

Монотонная речь убаюкивает его. Мой пациент позволяет вести себя, не быстро – мы ведь прогуливаемся. Что странного в прогулке двух джентльменов?

Ничего, мистер констебль.

Тогда почему вы смотрите на нас столь пристально?

Я слышал, будто некоторые люди обладают особым чувством, позволяющим им улавливать тончайшие эманации, что исходят от других людей. Неужели мне «повезло» встретиться именно с таким полицейским?

– Он меня узнает... – Мой пациент дрожит, и мне приходится сдавливать его руку. Боль отрезвит, а синяков на нем предостаточно, чтобы спрятать среди них еще парочку.

– Мистер! – Я сам окликнул констебля. – Мистер, вы не подойдете? Извините, мы тут ищем... одно место. Особое место.

Заглядываю в серые глаза, и сердце замирает: вдруг именно сейчас этот юноша поймет, кто перед ним. Успею ли я убежать? И стоит ли бежать? Не проще ли ударить первым, ведь нож до сих пор лежит в кармане моего сюртука.

– Вот. За старания. – Я протягиваю банкноту, которую констебль принимает. Он делает знак идти за ним, и мы идем. Я узнаю это место.

Тень храма падает на дома, придавливая и без того низкие крыши. Воняет кожей, тухлым мясом, нечистотами. Мужчины хмуры. Женщины некрасивы. Дети истощены. И кажется, будто бы я попал в ад. Мой подопечный взбудоражен и увлечен происходящим. Он вертит головой, пытаясь разглядеть все, и думать забыл о констебле.

А вот и двор.

При свете дня он еще более убог и тесен. Грязные дома. Блеклое небо. Трещины в тучах, сквозь которые пробивается свет. Солнца не видать, но здесь оно лишнее.

– Прошу вас, джентльмены.

Констебль отступает, но не спешит уходить. Он молод, лет двадцать – двадцать два. Светлые волосы. Серые глаза. Пухлые губы. Ему страшно, пусть он и не в состоянии определить источник этого страха. И он уговаривает себя забыть о смутных подозрениях.

Для них нет повода.

– Ее убили здесь? Вот здесь? – Мой подопечный присаживается у темного пятна, которое впиталось в камни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.